АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА ССР

ГИТЛЕР ДОЛЖЕН ПАСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА ССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО

ГИТЛЕР ДОЛЖЕН ПАСТЬ

СТИХИ И ПРОЗА
ПИСАТЕЛЕЙ-АНТИФАШИСТОВ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Е. ГАЛЬПЕРИНОЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА 1941 ЛЕНИНГРАД

Редактор издательства А. М. Бочевер. Подписано к печати 15/VIII 1941 г.
РИСО № 1915 — 1065. Л143920. Объем 3½ печ. л., 4,51 уч.-изд. л. Цена 90 коп.

1-я Образцовая типография Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»,
Москва, Валовая, 28. Заказ № 2716

— Гитлер должен пасть. Если должен быть укреплен мир между народами, то Гитлер должен пасть. Если должна быть завоевана свобода германского народа, то Гитлер должен пасть. Для того, чтобы устранить эксплоатацию человека человеком, — Гитлер должен пасть. Для того, чтобы народы могли существовать,— Гитлер должен пасть.

Вилли Бредель

ПРЕДИСЛОВИЕ

Фашистские звери, напавшие на нас, порабощают народы Европы, истребляя миллионы людей, уничтожая мирное население, женщин и детей, разрушая создания человеческого гения, всюду неся с собой унижение и рабство. Фашизм — это смерть для всего человечества, это гибель цивилизации.

Антифашистские писатели всего мира рассказывают в своих книгах о зверствах гитлеровских банд, о Германии, превращенной фашистами в кровавый застенок для немецкого народа. Они рассказывают о странах, порабощенных фашистскими палачами — странах, где царит ужас и смерть. Они рассказали о героической борьбе испанского народа против фашистских интервентов.

Массы не покоряются палачам. Немецкий народ и народы других стран выдвигают тысячи мужественных, благородных, самоотверженных борцов против фашизма. С любовью и надеждой смотрят трудящиеся всего мира на страну свободы — СССР, — самый мощный оплот передового и трудящегося человечества в его борьбе против озверелых орд фашизма. И повсюду зреет уверенность — Гитлер должен пасть.

Страна поэтов и мыслителей стала государством лицемеров и палачей. Но Гитлер—это не Германия.

Немецкий антифашистский писатель ***

ИОГАННЕС БЕХЕР

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПЛОЩАДИ*

...Я снова стою на площади и смотрю на нее, на эту изменившуюся площадь, которая изменила и меня.

Понедельник, одиннадцать часов утра. Грузовик, набитый полицейскими, пересекает Бюловплац. Прохожих не видно, ни одного человека, никого. Дом имени Карла Либкнехта, как всегда, — серая мощная громада. Перед входом два штурмовика в грубых плащах.

Вдоль Вильгельмштрассе люди стоят шпалерами, крича: «Хейль Гитлер!» Внизу, в автомобилях, покорные Гитлеру штурмовики в черных куртках, на шапках — изображение черепа, револьверы наготове.

Телефонные звонки. Тревога. Гитлер взял в свои руки власть. Гитлер стал рейхсканцлером.

...Пролетает грузовик с полицейскими. Говорят, что на Германштрассе перед биржей безработных была полиция, были выстрелы.

---

* В Очерках И. Бехера описывается Берлин в первые дни после захвата власти Гитлером в 1933 г.

Днем приходят первые вести с производства.

Забастовка? Всеобщая забастовка?

Мы ждем этого, как ждут после длительной дождливой погоды светлых дней. Неужели профсоюзы снова наступят пролетариату на горло?

...Как расслаблены рабочие коллективы на заводах! Неужели у них нет больше крови в жилах? Что случилось?

Социал-демократическая партия все еще стоит перед фашистами, как огромная защитная стена: фашисты двигают ее перед собой, как танк, и в этот момент огонь танка направлен на нас.

Коммунисты! Коммунисты! Коммунисты!

***

... Все — как всегда, как будто ничего не случилось.

... Мы заняты подготовкой к выборам. Снова несутся грузовики с полицией. Группа вокруг дома имени Карла Либкнехта. Это, наверное, наши товарищи.

Когда я вхожу в двери, то вижу под плащами коричневые брюки. Штурмовики. Свисток. Их становится все больше, и они пытаются напасть на дом Карла Либкнехта развернутым фронтом.

Тяжелые железные двери запираются. Внутри подготовлен шланг. Отправляются велосипедисты, чтобы предупредить места связи.

Штурмовики отступают. Некоторые из них делают недвусмысленные жесты. Они показывают нам, как режут головы и как вешают. Мы смеемся над ними... Но один товарищ совершенно серьезно уверен, что предстоит Варфоломеевская ночь, массовые расстрелы и концентрационные лагери. Он слыхал об этом из верных источников.

Во время этого разговора внезапно наступает тишина. Мы вдруг вспоминаем лица руководителей штурмовиков. Ведь они все сделают — эти величайшие «любители войны» и враги рабочего класса. В их организации собрана вся сволочь...

Наступает день нашего последнего собрания в Спортпаласе. На собрании говорит товарищ Пик. Незадолго до окончания штурмовики собрание все-таки срывают. Это последняя проверка наших рядов. Мы встречаем многих товарищей и договариваемся о способах связи. Товарищ Пик говорит о большой провокации, которая предполагается еще перед выборами. Снова в нас поднимается глубокая, жуткая тревога, но мы чувствуем себя спаянными, крепкими, непобедимыми.

Я бы хотел напомнить и о том собрании, на котором товарищ Осецкий, только недавно вышедший на свободу, сказал сильную прощальную речь. Он говорил трезво и сухо, но так, что каждое слово возбуждало и горячило: на нас повеяло будущими событиями. Он говорил о глубокой ночи, о ночи жертв, убийств и предательств, и желал тем, кто будет иметь счастье увидеть конец этой ночи,— увидеть и победу красного знамени. Он говорил, что если нас принудят к молчанию, то нам не смогут запретить презирать...

***

.... в то время, когда мы меньше всего думаем о том, чтобы обезопасить заседания нашей ячейки, — получается известие о пожаре в рейхстаге.

Я не принадлежу к тем, кого вытащили в пять часов утра из кровати и арестовали. Меня предупредили в последний момент, и я провел ночь в безопасном месте. По телефону я узнал, что квартира моя разгромлена, передал по телефону же привет штурмовикам, извинился, что меня не было дома и предложил им меня арестовать, — если они смогут, конечно. При этом я предупреждал их, что арестовывать и избивать другого товарища, вместо меня, как они это раз уже сделали, — не стоит.

Затем я отправился в кафе, сел за столик возле окна и снова смотрел, не отрываясь, на преображенную Потсдамскую площадь.

Против меня сидит старикашка, которого я уже видел однажды в толпе, — водитель штурмового отряда. Этот — у власти: власть струится из каждого изгиба его тела. Высокий крахмальный воротник, грудь колесом, рука в бок от упоения властью, подбородок вперед, — он готов к нападению. «Да он сейчас выстрелит, — думаю я, — так он воинственен».

— Германия пробудилась! — скрипит старик и обстреливает глазами кафе. — Германия пробудилась!..

— Будто так? — ворчу я и снова, и снова смотрю на безумную преображенную Потсдамскую площадь.

Весна в воздухе. Весна и здесь, на площади. Пестрые пятна, коричневые куртки, скопления штурмовиков, посредине голубые пятна мундиров солдат мирного времени. Сверкают начищенные пуговицы и каски. Гусар с черепом на шапке проезжает верхом через площадь. Шнуры на его груди лопаются от гордости. Вся Потсдамская площадь — лагерь привидений... ярмарочное колдовство, пестрые фигуры — мишени, паноптикум, тюрьма, Германия 1914 года, Германия Бисмарка... Как будто в одну ночь появился новый род людской, абсолютно изменивший город. Откуда они вдруг все явились?.. Старик за столиком поворачивается ко мне вместе со своим стулом. Я ощущаю нечто вроде страха и поспешно удираю на крыльях вертящейся двери.

«Эх, ты, — думаю я, — испугался такого!..» Мне хочется вернуться в кафе. Честно сказать, мне не хочется выходить на эту безумную преобразившуюся площадь. Мне становится стыдно, по-настоящему стыдно.

Человеческий поток устремляется к рейхстагу.

Я спасаюсь на островок безопасности: там уже стоит товарищ Франц из Моабита. Он тоже удивлен и в достаточной мере беспомощен.

— Мне это знакомо с августа четырнадцатого года, — говорю я, чтобы придать себе храбрости.

— Как сумасшедшие! — говорит товарищ.

Мы стоим и шушукаемся на нашем островке посредине площади, где кружится людской водоворот. Я удивляюсь тому, что земля не уходит у меня из-под ног, и чувствую, как под влиянием всеобщего преображения начинаю преображаться и я.

— Слушай! — говорит вдруг Франц, после того как мы условились относительно второй встречи, и пожимает мне руку. — Теперь партия станет сильной. Она станет сильной, благодаря нашим жертвам, станет сильной потому, что все чужие и все лентяи покинут наши ряды. Послушай, — разве ты не чувствуешь? — мы растем теперь!

— Теперь слушай ты! — отвечаю я, и это «ты» звучит совсем иначе, чем раньше. Это «ты» уничтожает во мне все чужое, все ленивое. Оно делает меня крепким, и поток мне больше не страшен.

Я говорю: «Идем!» — я иду в толпу вместе с ним. Я спокойно иду навстречу толпе; иду вместе с ней до следующей улицы, куда мы сворачиваем. Еще минуту остаемся мы под воротами какого-то дома.

Теперь мне все совершенно ясно, точно партия вырвала меня у моей собственной слабости и крепко взяла в руки. Я смотрю сам на себя, как на маленького слабого человека, затем прощаюсь с товарищем и еще раз иду один через изменившуюся площадь.

Иду и мечтаю.

Почему нельзя мечтать?

Я люблю мечтать.

Теперь я мечтаю посреди этой безумной площади, какой она будет тогда, когда власть в Германии будет в наших руках.

Это хорошая, полезная мечта, она возвышает и придает силу.

Мы подходим к Потсдамской площади. Площадь наша, улицы наполнены нашими людьми, ни шелковых дам, ни господ в выутюженных брюках не видно. Наша колонна отражается в колоссальных витринах, как будто навстречу

нам идет еще одна колонна с развевающимися красными знаменами и поднятыми кулаками. Металлический и в то же время мягкий звук духового оркестра рвет камни, и даже камни начинают радоваться и петь.

Некоторые товарищи помнят тот день во время войны, когда Карл Либкнехт говорил на Потсдамской площади. Я был там — и был отброшен верховыми в шишаках на улицу Кетенер.

Прошли годы, — и я рад, что родился в столетии, в котором Ленин сказал слово будущему, и в котором это будущее стало настоящим — и здесь, у нас в Германии, и там, — в Стране Советов.

И я иду, расправив плечи, иду гордо через Потсдамскую площадь — площадь Ленина.

ИОГАННЕС БЕХЕР

ПРОКЛЯТАЯ БАНДА

«Проклятой бандой» вас назвать не ново,
Вас окрестили так уже давно.
Коричневым бандитам все равно,
Как их зовут. Они на все готовы.

Но часто я корю себя сурово
За то, что горькой виноват виной,
Что сразу не нашел такого слова,
Чтоб насмерть вас ужалило оно.

О если б мог из слов я сделать смесь
Такую ядовитую, чтоб каждый
Из вас, глотнув ее, согнулся весь
И сдох, как пес, взбесившийся от жажды,

То с лютой ненавистью, в тот же час
Такою смесью угостил бы вас.

ИОГАННЕС БЕХЕР

ПРОКЛЯТЬЕ ГИТЛЕРУ

Ты бросил в пустоту слова,
Тех слов не разнесет молва.
Как ты не думает никто.
Что сделал ты, — бесплодно то.

Ты мнишь оставить след в веках —
Ты обратишься в жалкий прах!
Любая тварь в пространствах лет
Значительней оставит след.

Исчезни: приговор в сердцах.
Исчезни! Превратись во прах!
Сгинь! Изнутри воспламенись!
В паденин не задержись!

Сгинь! Отпущения не жди!
Ты проклят нами: пропади!

ИОГАННЕС БЕХЕР

ПЕРВОЕ МАЯ

Рано утром Стеффен увидел колонны, которые по зову правительства отправились первого мая 1933 года на празднование «национального величия».

Улицы Берлина казались праздничными. В воздухе развевались флаги со свастикой. На тротуарах — нарядная толпа. Колонны демонстрантов смотрели друг на друга, держа высоко плакаты с названиями фабрик и заводов. Оркестры играли — «Коричневый Вединг» и песню «Хорст Вессель». *

«Будь ты проклят!»

Стеффен видел знакомые лица. Эти рабочие шли в рядах в истрепанных воскресных костюмах. Они принимали участие в демонстрации. Колонны полицейских — на рукаве перевязь со свастикой — тоже демонстрировали. Штурмовики всех рангов были до того вычищены, что казались лакированными. Мимо плыли автомобили, переполненные людьми в цилиндрах и в одежде мирного времени. Они бросали приветственные крики в толпу. «Нехватает только, — думал Стеффен, — чтобы в колоннах маршировали тысячи расстрелянных и замученных и приветствовали правительство «национального величия»...

---

* Фашистский гимн. *Ред.*

Глаза Стеффена остановились на одном лице. Это был человек лет тридцати. Лицо его было костлявым, грубым лицом рабочего, худым, измученным, но все же напряженным и как бы связанным с кулаками, которые болтались в ритм его шагов. Когда раздалась песня «Хорст Вессель», губы этого рабочего задвигались, но пел он неслышно другие слова. Когда руки поднимались для приветствия, его рука поднималась тоже, но кулак оставался сжатым. Вся праздничность этого дня, созданная правительством «национального величия», не заставила бы его разжаться. Человек шел в колонне. Рядом с ним, перед ним, сзади него шли люди одинаковым шагом, и лица их были похожи на его лицо, — многие тысячи. Вдруг они начали петь так, что стало слышно:

— Товарищи, расстрелянные штурмовиками,

Маршируют с нами, в наших рядах...

Слово «штурмовиками» (вместо «Рот-фронтом») ударило по улице и ворвалось в толпу мещан, которые возмущенно искали глазами полицию.

Расстрелянные штурмовиками...

Опущенные лица мужчин поднялись, шаги стали твердыми.

Повторив заключительную строфу, они спели «настоящие» слова:

Расстрелянные Рот-фронтом...

Но при слове «Рот-фронт» по ряду пронеслось громкое троекратное «Рот-фронт!». Сзади надвинулись полицейские. Мужчины пожимали плечами и крепким шагом, не задерживаясь, продолжали итти.

По этим лицам Стеффен улавливал настроение во всем городе. Измученные, похудевшие лица повсюду, мелкие, незаметные, расхлябанные шаги, — люди шли так, точно они никогда не учились держать шаг, сутулились — и, наоборот, грудь вперед и голова кверху, как только пред-

ставлялась возможность ввести в песню собственные слова.

На одной из площадей Стеффен вошел в ряды. Рабочие с удовольствием дали ему место. Он пришел к своим. Это были его товарищи, он был одним из них, — это он почувствовал, когда в колонне один из тех, кто шел рядом, пожал ему руку.

* * *

Карл сам соорудил свой аппарат. Теперь он мог слышать Москву, и он пригласил еще двоих, — только двоих, так как нужно было быть чертовски осторожным...

В девять часов утра в Москве начался первомайский парад, и теперь, в одиннадцать часов вечера, он начался еще раз в Гехингене, вюртембергской деревне. Он начался не только в Гехингене, но и во всей Германии. Пролетарии сидели и слушали.

Необычайная тишина. Девять ясных ударов. Репродуктор сообщает:

— Товарищ Ворошилов выезжает из кремлевских ворот...

... Красная Армия стоит на Красной площади. Товарищ Ворошилов объезжает фронт. Точно короткий выстрел, раздается приветствие каждого отряда — «ура». «Ура» широко окружает Красную площадь, гремит в глубине улиц, снова возвращается, исчезает, — три раза «ура» обходит круг. Снова тишина, в которую под аккомпанемент двадцати одного орудийного залпа врывается «Интернационал»...

Три товарища у аппарата в Гехингене двигают губами. Они закрывают рты рукой. Каждому из них хотелось бы теперь широко распахнуть окно и радостно крикнуть: «Тише! Тише!»

Из черной воронки репродуктора раздается тяжелый гул: моторизованные отряды с гаубицами и орудиями. Репродуктор начинает реветь: сверху вниз, снизу, из земли

вверх, одна-единственная грандиозная машина проходит мимо, связывая небо и землю. Танки, эскадрильи аэропланов. Воздух сверкает сталью, он заполнен стальным звучанием...

Вильгельм, слушающий Москву, — крестьянин-батрак. У него есть жена и ребенок, и наци обещали ему рай на земле. Но он не дает Гитлеру себя одурачить. Он работает у одного кулака-наци и знает на собственной шкуре, что такой рай для таких, как он.

Зепп, слушающий Москву, — баварец-рабочий. Он может рассказать об изящных лимузинах, украшенных гитлеровскими флажками, которые скользят мимо него, пока он чинит мостовую. Зепп тоже приветствует их поднятым кулаком. Кулак его — как камень в вытянутой руке, когда он видит проезжающих наци. Они пожимают плечами. Но если он когда-нибудь разожмет кулак, стекла автомобиля разлетятся вдребезги.

Карл, слушающий Москву, конструктор аппарата, много видел на своем веку. Он был во флоте и в 1918 году был в Киле во время событий. Теперь он работает маляром у хозяина, стоит целые дни на высоких лесах и красит. Он знает, что это ни к чему, — старую развалину можно, правда, заново выкрасить так, что она некоторое время будет казаться хорошей, но гниль остается и продолжает разъедать...

Трое слушают Москву — и теперь они маршируют, превращенные в сотни тысяч, прямо вперед, когда репродуктор сообщает:

— Заполняя площадь, за лесом красных знамен, пылающих в воздухе, маршируют фабрики и заводы.

Вильгельм, работающий у кулака, держит на плече вилы, он проходит по площади. Площадь велика и пуста, — это не площадь, это поля вокруг Гехингена, — и он марширует по ним. На вилы нацеплена красная тряпочка, маленькая тряпочка тянет за собой сияющий красный свет, и теперь за ним и около него бегут по полям люди.

Зепп, рабочий, мечтает о том, как он задержит автомобиль. «Да, господа, теперь м ы поедем. В ы х о д и т е!». Он входит в машину. Автомобиль переполнен. Теперь он рад, что улица в порядке, — теперь это его улица, для которой он работает и которую он любит...

Карл у аппарата видит: они идут. Он видит сначала вдали неясные точки. Они временами исчезают и отдаляются, но все-таки приходят рабочие, миллионы рабочих со старыми красными знаменами. Теперь они за холмом и внезапно, полные силы и мощи, заливают весь горизонт, как волна.

* * *

В дверь стреляют. Из репродуктора, раздается: «Пролетарии всех стран...» В комнату вваливается толпа штурмовиков с револьверами в руках. Те трое стоят перед аппаратом, как будто дело идет о том, чтобы защитить аппарат, из которого, прерываемый треском и свистом, раздается «Интернационал».

Сотни тысяч честных людей, целые страны выданы на расправу фашизму, на смерть и поругание. В этих джунглях низости и преступлений только СССР служит моральной опорой и надеждой для человека.

Вилли Бредель

ЭРИХ ВАЙНЕРТ

ИОН ШЕР И ТОВАРИЩИ

Ночь холодна. Ружье навес ý·
Шофер тормозит. Остановка в лесу.
Десять охранников — рука у курка.
Рядом четыре большевика:
Ион Шер и трое товарищей.
Командир оглянулся, шепнул: «Никого».
Ион Шер удивился: «Слезать? Для чего?»
Начальник с ухмылкой: «Поймешь сейчас».
И поняли вдруг, что пробил час —
Ион Шер и трое товарищей.
Курки взведены. Перебранка. Спешат.
Ион Шер искривился: «Прикажешь бежать?»
Парни хохочут: «Успеешь! Погоди!
Слезай с машины! Шагай впереди, —
Ион Шер и трое товарищей!»
Ион Шер говорит — «Таковы вы всегда.
Карл Либкнехт был также убит без суда».
Вожак закричал: «Вышвырнуть их!»
И молча вышли — и шаг был тих —
Ион Шер и трое товарищей.
Команда их в лес глубоко завела
Дюжина выстрелов эхо рвала.

Погасли глаза, и не стало в живых,
И по три в затылке дыры пулевых —
У Иона Шера и троих товарищей.
В Берлин грузовик возвращается скоро
«Четыре штуки» — приходует морг.
В приемочной книге отметил вожак:
«Четверо красных... при попытке бежать...
Ион Шер и трое товарищей.»
А потом отправляется в мраморный зал,
Там бал и тот, кто убить приказал.
Рапорт врезается в звонкий бал.
«Списан в расход, — господин генерал, —
Ион Шер и трое товарищей.»
Надолго ли? Эй, генерал — не верь!
Взрывом гранаты вышибет дверь.
Ты вскочишь с постели, тараща глаза.
— Пойдем, генерал. Рассчитаемся за —
Иона Шера и троих товарищей!

Мы должны выняньчать в сердцах людей ненависть. Пусть живые поймут, что нельзя жить на одной земле с фашистами.

И. Эренбург

ИОГАННЕС БЕХЕР

ЗНАМЯ

Ее из-за угла фашисты застрелили.
Мы, образуя тесное кольцо,
Платком лицо ее пробитое прикрыли,
Родное и суровое лицо.
И — не лицо ее теперь пред нами,
И не платок,
Прикрывший скорбный рот, —
Пропитанное кровью знамя
К борьбе
И к мужеству зовет!

ЭРИХ ВАЙНЕРТ

МОЛЧАНЬЕ

(Вольная обработка Вл. Нейштадта)

* * *

Холодная полночь
Гуляла по селам,
Холодная полночь
Кусала сердито,
Когда по селу
Прокатился веселый
Посвист
Коричневых бандитов.
Хвастливо закрякали
Мотоциклетки.
Пугливо запрятались
Жители в клетки.
«Опять этот ужас,
Как в прошлую среду...
Пришли, но к кому же —
Ко мне иль к соседу?»

* * *

Собаки вгрызаются
В икры чужому,
Собаки охочи
До лая и драки.

К намеченному
Расписанием дому
Подходят
Коричневые собаки.
Удар за ударом
Посыпался в двери,
В разбитые двери
Врываются звери,
И руганью хриплой
Замарана полночь:
«К постели прилипла,
Красная сволочь?!»

* * *

Вожак заливался
Простуженным басом,
Пихал сапогами,
Как в мягкую глину.
И каждый выстукивал
С гиком и плясом,
И злобно свистела
Тугая резина.
Собаки работают
Лихо и споро.
В рекордное время
Управилась свора.
А сделавши дело,
Погрызлась немного
И бросила тело
Синеть у порога.

* * *

Они упивались
Веселым набегом,
Они уходили,
Стреляя по окнам.

И дети, забившись,
Как зайцы под снегом,
Не смели ни крикнуть,
Ни пискнуть, ни охнуть.
Холодное утро
Печально смотрело
На распростертое
Синее тело.
У трупа стояли
Угрюмые группы,
Но люди молчали,
Молчали, как трупы.

* * *

Кто ненависть знает,—
На вздохи не падок.
Кто местью сгорает,—
Слезы не уронит.
А впрочем, в стране
Установлен порядок:
Живых убивают,
А мертвых хоронят.
Печаль закоснела
У губ неразжатых
И не было знамени
У провожатых.
Но сердце колотится
Злою отвагой,
И в сердце — полотнище
Красного флага.

* * *

Рабочее знамя
Лежит под запретом.
Надгробное слово
Указом изъято

И только молчаньем
Живым и согретым,
Они прокричали
Товарищу клятву.
И каждый сказал ему
Взором открытым,
И горстью песка
Попрощался с убитым.
И падал песок,
Как багряные розы,
И были в песке
Непролитые слезы.

* * *

И падал песок.
И лопаты ходили,
Ровняя отметку
Последнего крова.
И все повернулись
К песчаной могиле,
Взметнув кулаки,
Как горячее слово.
И каждый кулак.
Раскаленным железом
Отравленный воздух
Безмолвно прорезал.
И в бешеном чаяньи
Грозной расплаты
Вздымалось молчание,
Бурей чревато.

ВОЛЬФГАНГ ЛАНГХОФ

ТОПЛИВО

В сырой, холодный апрельский день 1934 года прусский концентрационный лагерь Бергермоор пополнился двумя заключенными, доставленными из соседних лагерей Ней-Зюструм и Эстервеге.

Первым к проволочному заграждению концлагеря прибыл в сопровождении охранника заключенный из Ней-Зюструма, столяр по профессии. Он неподвижно стоял под дождем, держа в правой руке размокшую картонку со своими пожитками и опустив левую по швам мокрых брюк.

Второй заключенный, из Эстервеге, прибыл не пешком, как этот, из Ней-Зюструма, а в закрытом синем лакированном грузовичке. Шофер движением руки приказал часовому открыть ворота, дал газ, въехал прямо во двор лагеря и остановился у барака-карцера, где с помощью выбежавших постовых поднял арестованного, поспешно положил его на голый деревянный пол камеры и вышел.

Оставшийся в камере уставился стеклянными глазами в потолок. На его лице зияла рана шириной в два пальца. Она шла от самых волос через лоб к носу. Он уже целые сутки был мертв.

Доставка обоих заключенных — мертвого и живого — находилась в прямой связи. Покойнику полагался гроб — и он должен был получить его в Бергермоope, а столяра из Ней-Зюструма затребовала в свою очередь администрация

Бергермоорского лагеря, так как им нехватало квалифицированных столяров.

Когда после полуторачасового ожидания, его позвал писарь, он так промерз и устал, что на пороге споткнулся и ударился головой о стенку.

— Умеешь ли ты сколотить гроб? — спросил писарь.

При слове «гроб» столяр испугался, он медлил с ответом.

— Умеешь ли ты сколотить гроб? — повторил штурмовик.

— Так точно!

— Один из ваших лежит в карцере. Только что доставили из Эстервеге. Внезапное кровоизлияние в мозг!

В семь часов, во время вечерней переклички, которая несмотря на дождь и полную темноту, происходила во дворе, почти все заключенные знали об этом. В то время, как во мраке раздавались окрики начальников, в то время, как ветер разносил по плацу обрывки фраз дежурных, отсчитывавших заключенных, из уст в уста передавалась новость:

— В Эстервеге снова кого-то убили!

— Он лежит в карцере!

— ... двадцать один, двадцать два, двадцать три...

— Знает ли кто-нибудь, кто он такой?

... двадцать четыре, двадцать пять, есть!

— Никто не знает, как его зовут.

— Смирно!

— У, собаки! Завтра необходимо разузнать его имя!

— Пошли!

Заключенные медленно возвращались по размытым дорогам в свои бараки. Многие оборачивались, оглядываясь на барак-карцер, расположенный у самой проволочной ограды. Казалось, будто они проникали взглядом сквозь деревянные стены в камеру, где лежал неизвестный мертвый товарищ, передавая ему немой привет. Большая семья заключенных — в Бергермоope они все чувствовали себя, как

одна большая семья — почти исключительно была занята покойником и его судьбой и забыла о новоприбывшем живом заключенном. Мертвый незнакомый гость, которому суждено было пробыть с ними только одну ночь, вытеснил живого. Для мертвого раскрылись сердца заключенных, их мысли были только с ним. Судьба покойника была им ясна, они перевидали уже многих, которых убивали, расстреливали, пытали до смерти. И имена их заключенные запечатлевали в своей памяти.

Ибо, несомненно, настанет день, когда оставшиеся в живых притянут к ответу убийц: где тот? А другой? А этого вы убили на болоте?

Поэтому у мертвеца в Бергермооре должно было быть имя, он не может лежать в камере, как чужой и неизвестный.

В бараке номер четыре на верхних нарах лежал столяр, уставившись взглядом в темный потолок. Ему не спалось: его беспокойно вспыхивающие мысли все время возвращались к замолкшему навеки человеку в карцере.

«...Пролетела пуля — в кого она летела — в тебя? в меня? ...сегодня ты, завтра я... товарищ, отсюда никто не выходит живым...»

Столяр всего месяц был в заключении. Но за эти четыре недели он прошел все этапы, которые надлежит пройти заключенному: арест, допрос в подвале штурмовиков, первые побои, которые вызвали в нем полную растерянность и невероятный ужас, каждодневное повторение этой муки, подрывавшей мужество, достоинство и твердость.

Затем перевод в тюрьму, новые пытки, новые мучения, наконец отправка в лагерь, прохождение под плетью через болото, прибытие в концлагерь.

Теперь он вспоминал все муки прошедших четырех недель, и страх, ужасный страх медленно заполнял его душу. А трепещущее, измученное сердце выстукивало в темноте: жить! жить! жить!

Дождь снаружи не прекращался; казалось, вот вынырнет из дождевой завесы лицо убитого товарища. Он ясно представлял себе это лицо — бледное, безжизненное, с кровавыми ранами на лбу и на лице, по которым текла вода. Он узнал его: это было его собственное лицо. Измученный столяр стонал: — Почему? — Почему? — Что мы сделали? — Кто нас заставил не признавать начальства? Разве мы не могли оба пить, есть, спать и жить на свободе? Почему мы не снимали шапки, перед каждым, кто нам это приказывал? Отчего у тебя на лбу шрам? Не говори, что это за других! Они не стоят этого! Нет, мертвый товарищ, теперь я знаю, что они недостойны этого. С меня уже довольно, теперь я знаю: все это не имеет никакой цены. Только жизнь ценна, та жизнь, которою каждый живет для себя.

Столяр, казалось, видел, как все время меняются черты лица мертвеца. То было лицо его отца, его брата, его друга, случайного прохожего, и снова его собственное лицо. В своем безграничном одиночестве он все настойчивее, горячее, отчаяннее обращался к движущемуся ряду этих лиц, пока сон не сжалился над ним и не отодвинул холодной рукой все эти образы...

День, последовавший за этой ночью отчаяния, выдался холодный, темный и сырой. Была суббота. В пять часов утра обнаженный до пояса столяр стоял в умывальной, прижимая одурманенный от страшной ночи пылающий лоб к прохладному окну. Он пристально вглядывался в предрассветное утро, но не видел ничего, кроме проволочных заграждений, с которых капала вода.

Разбитый от стояния у комендатуры и от мучительных снов, чувствуя отвращение к самому себе, к тому образу, который предстал перед ним ночью, он не в состоянии был разговаривать и сидел возле своих товарищей, злой, молчаливый, неспособный отвечать на их благожелательные, ободряющие слова.

В 7 часов утра заключенные, посланные на болота, вышли на работу. Когда раздался обычный приказ петь, за-

ключенные сначала отказались, и только после второго решительного требования начальника взвода шедшие впереди товарищи затянули песню громкими ясными голосами:

— «У меня был товарищ...»

Все шестьсот человек стали подтягивать.

Оставшиеся в мастерских, — среди них и столяр — взволнованно слушали пение. С моста у канала тихо сквозь туман доносилось:

«не могу подать тебе руки...»

В задумчивости столяр принялся за свою работу. Рядом с ним работало еще три товарища. Они выбирали доски, измеряли их и нарезали для гроба.

В это утро весь лагерь был в лихорадочном возбуждении. Внешне все оставалось попрежнему. Но, невзирая на железную строгость, дисциплину, наказания и жестокое насилие — лагерь напоминал сооружение, изъеденное муравьями: оно насквозь было прорыто бесконечно тонкими каналами, через которые просачивались вести, наблюдения, усмешки, вскользь брошенные слова, разговоры о политике, даже тайное братание с некоторыми недовольными часовыми, работа в комендатуре, в канцелярии или в почтовом бараке, — и вся сумма этих сведений, зарегистрированная, дополненная, планомерно использованная — сплеталась, благодаря упорной воле, разуму и мужеству, в сеть тайных связей, создавая лагерь в лагере и отвоевывая ему необходимое в жизни место.

Один из трех столяров отправился в уборную, место получения лагерных новостей. Он вернулся подавленный и недовольный.

— До сих пор еще никак не удалось разузнать имя покойника, сказал он, — ни в прачечной, ни у сапожников, ни в канцелярии, ни в лазарете, ни в материальном складе, ни у огородников,— нигде.

— Может быть, тем, на болоте, больше повезет; нам, повидимому, не удастся узнать его имя.

К счастью, промокшие на болоте заключенные вернулись в двенадцать часов, потому что по лагерным правилам в субботу после обеда не работают. Эти свободные послеобеденные часы были самыми счастливыми в лагере. Заключенные ждали их всю неделю.

Во время еды вдруг распространился слух, что старосты из всех бараков должны явиться в комендатуру. Заключенные оторопели. Такое изменение обычного распорядка дня не предвещало ничего хорошего. Ложки полетели в котелки, посыпались предположения о штрафных работах в свободный субботний день или о других издевательствах.

Однако вернувшиеся из комендатуры старосты сообщили о следующем распоряжении коменданта:

— Сегодня, в субботу, в два часа состоятся похороны товарища, находящегося в карцерном бараке. Каждый барак должен выделить на похороны по шести человек, которые будут провожать по железной дороге гроб на болото, где и состоится погребение. Пусть каждый добровольно заявит о своем желании принять участие в похоронах. Сбор без четверти в два, у входа в лагерь.

Предположение, что комендант мог поддаться чувству порядочности или сострадания и поэтому разрешил заключенным проводить мертвого товарища, было чудовищным, потрясающим и новым. Самые невероятные предположения носились в воздухе. Все вопросы сводились к одному — кто же этот покойник, если начальство лагеря решилось на такой шаг? Что он сделал? Какого врага фашисты заставили замолчать навсегда? И кто принудил их после смерти воздать ему дань уважения, а не выкинуть как издохшее животное — как это делали с другими товарищами, брошенными в могилу на болоте? Какого товарища, вождя, друга потеряли заключенные?

В неизвестном покойнике объединились страдание и любовь, борьба и верность, смерть и освобождение всех угнетенных,— и его облик стал велик, как мир.

Поэтому заключенные всех бараков выбрали для прово-

дов самых достойных, самых мужественных товарищей, поведение которых в заключении являлось для них образцом.

Это были тайные вожди лагеря, железный передовой отряд будущего.

Странному случаю было угодно, чтобы среди избранных очутился новоприбывший столяр; три старых столяра, ссылаясь на то, что именно они делали гроб, потребовали, чтобы в проводах приняла участие вся столярная мастерская.

Из страха вызвать нерасположение товарищей, новоприбывший решил не отказываться от участия в похоронах, и, как и остальные, был у ворот без четверти в два. Заключенные выстроились в две шеренги и молча ждали прибытия гроба. Их зеленая истрепанная форма, поскольку это было возможно, была почищена и приведена в порядок, бескозырки были надвинуты прямо и аккуратно на серьезные решительные лица.

Плацмейстер вышел из комендатуры. Он остановился и внимательно посмотрел на небо. Флаг на высокой мачте перед комендатурой трещал на резком ветру.

Из жилых бараков, расположенных у решетки, вышли охранники в длинных синих шинелях с карабинами в руках.

Взводный прошел сквозь входные ворота к заключенным.

— Смирно!

— Отсчитать!

— Раз, два, три... двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь.

Дверь карцера раскрылась; показался гроб; он повис над ступеньками, тощий сухой венок из вереска медленно соскользнул на песок, под ноги носильщикам. Покойник медленно двинулся на плечах товарищей в свой последний путь.

Заключенные, стоявшие в двадцати метрах от гроба, дрогнули. С обнаженными головами, стоя прямо и непо-

движно, они принимали своего неизвестного любимого товарища.

Несшие гроб заключенные, в окружении охранников, стали во главе шествия и, не проронив ни слова, без команды двинулись вперед.

У столяра, шедшего посередине сильно билось сердце. Он болезненно ощущал нависшее в воздухе напряжение. Смертельный страх обуял его...

На рельсах, возле лагеря, ждал поезд. Машинист стоял у поезда, держа в руках белую фуражку.

Гроб поставили на переднюю платформу, на вторую влезли заключенные, на третью — стража. Семь остальных вагонов шли порожняком, и заключенные тщетно ломали себе голову над тем, для чего они предназначены.

Все было готово, но по какой-то причине отъезд задерживался. По мосту канала, по направлению к лагерю, тряслась деревенская телега. Сзади справа показался автомобиль.

— Сам комендант принимает участие в похоронах, — взволнованно перещептывались заключенные. Происходящее становилось для них все менее понятным.

Между тем подъехала деревенская телега, и из нее вышли трое церковных служек в белом облачении. Заключенные совершенно опешили от того, что убитый товарищ будет похоронен по церковному обряду и что фигура в автомобиле, повидимому, пастор.

Кто же покойник?

Поезд тронулся.

Скорбная поездка на болото! Со стуком и скрипом подпрыгивали колеса на скреплениях заржавевших узких шпал, паровоз испускал резкие жалобные звуки...

Поездка на болото! Шопот, пылающие мысли, воспоминания...

Рядом с поездом медленно продвигался автомобиль коменданта. На перекрестке комендант вышел, в машине остался один пастор.

Некоторые из заключенных решили, что имя покойника все-таки станет известно; ведь священник должен произнести его, когда будет молиться за упокой души.

Направо от Бергермоора, на полпути между Бергермоором и Эстервеге, виден небольшой холм. Словно остров, возвышается он над болотом. Остров этот недостижим для случайного путника, — непроходимое болото отделяет его от мира. Здесь находятся могилы, — могилы заключенных из Эстервеге.

Поезд остановился.

Медленно, не торопясь, заключенные сошли с платформ.

Решительные, спокойные, прислушиваясь только к собственному внутреннему голосу, они продвигались вперед так, как это подобает на похоронах, так, как они шли за гробом, на свободе, как их учили в детстве, когда они благоговейно приближались к покойнику.

— Вперед, вперед, скорее! — орал взводный, не производя своим криком ни малейшего впечатления на заключенных, которые в эту минуту в братском единодушии отдавали последний долг покойнику.

Когда обе шеренги выстроились, взводный приказал рассчитать людей.

— Раз, два, три, четыре!

Стоп! От первого до четвертого — оставаться на местах! Остальные напра-во, три шага вперед, марш!

Когда заключенные разделились, взводный остановился, широко расставив ноги, и сказал им следующее:

— Слушать! Кое-кто из прибывших сюда не совсем уясняет себе цель этой поездки. За исключением восьми человек все остальные отправляются на болото за топливом. Надо нагрузить десять платформ. Чем скорее это будет сделано, тем скорее мы вернемся домой. Если будете мешкать и прохлаждаться, то останетесь здесь до тех пор, пока не сгниете... Тот, кто вообразил, что отправился на прогулку, жестоко ошибся!

По рядам заключенных прошел трепет. Приказ ударил

их, как молния! Значит их послали на болото вовсе не на похороны, а на работу! На работу в свободные послеобеденные часы в субботу! И они пошли добровольно!

Вот почему в поезде было семь порожних платформ, вот почему у коменданта вдруг проснулась совесть, вот где крылась разгадка гуманности, вот к чему свели чувство долга шестидесяти лучших людей лагеря: нужно было отвезти покойника и привезти топливо.

Но, несмотря на ярость и досаду заключенные с облегчением принялись за работу. Враг сохранил свое лицо. Да, он был таким, каким они его знали — грубым, жестоким, гнусным. И они снова убедились в том, что чудес не бывает, и что так будут выглядеть враги и в тот день, когда наступит расплата...

Пятым из восьми оставшихся оказался столяр. В первый раз после прибытия в лагерь в нем, несмотря на страх, зашевелилось какое-то новое чувство.

Все восемь принялись за работу. Они достали лопаты, кирки, перекинули доски между болотом и островком, наметили место и стали рыть могилу.

Когда яма была вырыта, заключенные тщательно счистили с себя комья земли, положили лопаты на траву и направились обратно к поезду.

Шесть человек подняли гроб на плечи, двое несли веревки. Впереди по доскам шел мальчик с крестом. За ним несли гроб. Маленькими, осторожными шагами заключенные пробирались по узким доскам, глубоко погрузившимся под их тяжестью в болото, из которого поднималась мутная черная вода. За гробом шел пастор. Он заколебался на мгновенье, поднял свою длинную сутану и в три отнюдь не элегантных прыжка очутился у лесочка.

За пастором перешли заключенные, и, наконец,— взводный.

Заключенные подняли доски, положили их поперек ямы и поставили на них гроб.

Сильный дождь заставил священника сократить служ-

бу. Защищая молитвенник от дождя широкими рукавами сутаны, он все быстрее читал слова молитвы.

Заключенные напряженно и внимательно наблюдали за церемонией. Вот сейчас в однотонной речи должно было проскочить имя умершего товарища — они надеялись, что оно сразу выйдет из тьмы безымянности и скажет: умерший — это я, помните обо мне! Наступила самая тяжелая минута, когда покойник навеки скрывается от живых. Пастор повторял:

— «...предаю душу покоящегося здесь... покоящегося здесь...»

И смущенно замолк.

— «...покоящегося здесь,— запнулся еще раз пастор, помедлил и продолжал: — покоящегося... здесь снисхождению и милосердию всемогущего...»

Пастор ушел. Остались лишь заключенные и взводный, почувствовавший себя значительно уверенней после того, как все кончилось. Он надел шапку.

— Сравнять!

В ту секунду, когда столяр собирался обернуться, чтобы взяться за лопату, взгляд его упал на товарищей. Собственно, это была только часть секунды, один миг, задержавший его руку, заставивший его заколебаться, и в этот ничтожный промежуток времени, более короткий, чем вспышка молнии, решилась его судьба.

Он посмотрел на товарищей. Никто не шевельнулся, все упорно смотрели в могилу. Выражение их лиц поразило столяра. Никакой приказ, никакие крики не могли бы подействовать на него сильнее. Бескровные, плотно сжатые губы, сурово нахмуренные лбы, сосредоточенные лица, словно маски, отлитые в момент величайшего напряжения воли...

Прошло три секунды, они тянулись как дни, недели, годы, вечность. Столяр стоял как вкопанный. Ему было страшно, как под ударами плетки, но он продолжал стоять.

— Сравнять! — закричал вторично начальник взвода.

Восемь заключенных не шелохнулись.

— Сравнять!— закричали охранники и подошли ближе.

Заключенные неподвижно стояли и смотрели в могилу. И вдруг в сердце столяра открылись какие-то новые источники. То было ощущение силы, принадлежности к великой семье, глубокое сознание того, что он стал опять человеком. Поток братского единения и стойкости захватил и его. Сломанный, разбитый человек поднялся вновь, выведенный из спячки примером солидарности своих братьев. И с несказанной радостью, какую дает лишь знание и чувство общности, он вновь вступил в ряды борющихся.

Три минуты оставались на своих местах заключенные, хотя охранники, придя в сильное возбуждение и не зная, как держать себя, кричали на них, сняв с плеч карабины и делая вид, что собираются стрелять.

Когда три минуты прошли, один из заключенных тихо сказал:

— Теперь за работу.

Они молча взялись за лопаты, и в могилу полетели комья земли.

Уже вечерело, когда десять вагонов были нагружены топливом.

Тайна покойника осталась неразгаданной.

Он пробыл с ними всего один день и успокоился на далеком болоте. Но товарищ, казалось, потерянный для дела свободы, стал первым, кого эта смерть привела в ряды борющихся.

Первым, — но не последним.

ВОЛЬФГАНГ ЛАНГХОФ

БОЛОТНЫЕ СОЛДАТЫ *

Топь, болото, торф проклятый —
Здесь и птица не живет.
Мы — болотные солдаты
Осушители болот.
Болотные солдаты
Шагают, взяв лопаты,
Прямо в топь.
В этой пустоши унылой
Воздух гнилью заражен.
Нас сюда загнали силой,
Словно кроликов в загон.
Болотные солдаты
Шагают, взяв лопаты,
Прямо в топь.
Поутру идут колонны
На работу в злую топь,
И сердца у заключенных
Выбивают глухо дробь.
Болотные солдаты
Шагают, взяв лопаты,
Прямо в топь.

* Песня из книги Лангхофа «Болотные солдаты».

Где-то дом, жена, ребята —
Ты ж корми болотных блох.
И тяжелую лопату
Подпирает тяжкий вздох.
Болотные солдаты
Шагают, взяв лопаты,
Прямо в топь.
Справа, слева часовые —
Побежишь, так жизнь отдашь.
В три ряда шипы стальные
Окружают лагерь наш.
Болотные солдаты
Шагают, взяв лопаты,
Прямо в топь.
Но не век стоит запруда,
И не век стоит зима:
День придет, — и нас отсюда
Вырвет родина сама.
Болотные солдаты
Швырнут тогда лопаты
Прямо в топь.

БЕРТ БРЕХТ

УЖАСЫ РЕЖИМА

1

Путешественник, вернувшийся из Третьей империи
И спрошенный, кто там воистину властвует, — ответил:
Страх.

2

В страхе
Ученый прерывает диспут с коллегой и, побледнев,
Озирает тонкие стены своего кабинета. Учитель
Лежит в кровати, не смыкая глаз, — стараясь понять
Темный намек, брошенный ему инспектором.
Старуха в бакалейной лавчонке
Прижимает дрожащие пальцы ко рту, чтоб удержать
Гневное слово по поводу скверной муки. В страхе
Разглядывает врач кровоподтеки своего пациента. В страхе
Взирают родители на своих детей — не предадут ли?
Даже умирающие
Заглушают угасающий голос,
Прощаясь с родными.

3

Но и сами коричневые рубашки
Боятся каждого, чья рука не взлетает кверху,
И трепещут, когда кто-нибудь
Желает им доброго утра.
Пронзительные голоса крикливых командиров
Полны ужаса, как визг поросят,
Которых ждет нож мясника.
В чиновничьих креслах потеют от страха
Откормленные исполнители.
Подгоняемые страхом,
Вламываются они в квартиры и обыскивают клозеты;
Это страх
Заставляет их сжигать целые библиотеки. Так
Властвует страх не только над подвластными, но
И над властителями.

4

Почему
Так боятся они правдивого слова?

5

Казалось бы: у режима такая могучая сила —
Концлагери и камеры пыток,
Откормленные полицейские,
Запуганные или подкупленные судьи,
Картотеки и проскрипционные списки,
До верху заполняющие огромные зданья, —
Казалось бы: можно не бояться
Правдивого слова простого человека.

Но их Третья империя напоминает
Постройку ассирийца Тара, ту могучую крепость,
Которую, как гласит легенда, не могло взять ни одно войско,
Но которая от одного громкого слова, произнесенного внутри,
Рассыпалась в прах.

Советский народ знает, что он является авангардом человечества и что в его власти видоизменить жизнь и сделать ее осмысленной, честной, прекрасной. Он является надежной защитой против фашизма. Каждый, кто не хочет лгать, должен быть боевым товарищем Советского Союза.

Арнольд Цвейг

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

ИЗГНАНИЕ ВРАЧЕЙ

(Из романа «Семья Оппенгейм»)

В известном романе «Семья Оппенгейм» Фейхтвангер рисует начало фашистского владычества в Германии, наступление варварства на культуру. Фашисты врываются в клинику, которой руководит знаменитый хирург Эдгар Оппенгейм, и «очищают» ее от врачей-евреев.

В обычное время Эдгар отправился в городскую клинику. Жена заклинала его не ездить сегодня, даже дочь, против его ожиданья, настойчиво отговаривала его. Наци постановили провести в эту субботу бойкот пяти тысяч немецких евреев. В этот день многие евреи не выходили из дому, многие бежали из Германии. Возможно, что это неблагоразумно; но Эдгар иначе поступить не может: он отправляется в свою клинику.

Видимых оснований для этого у него нет. Над его работой в Германии поставлен крест. При желании он мог бы сегодня же уехать. Он получил лестные предложения из Лондона, из Парижа; большинство медицинских институтов цивилизованного мира стремились заполучить изобретателя оппенгеймовского метода. Одно из этих предложений он примет. Все, созданное им здесь, конечно, в значительной части погибнет, так как и маленький доктор

Якоби, единственный, кому он еще мог бы доверить свою лабораторию, тоже уезжает. Он действительно едет в Палестину, как однажды иронически мысленно пожелал ему Эдгар... Да, в Лондоне, Париже или Нью-Йорке Эдгару придется все начать сначала, пройдет, вероятно, пять-десять лет, не меньше, пока он добьется того, чего здесь уже достиг. Ему, конечно, будут предоставлены средства, но средств этих, конечно не хватит, все мытарства, которые он одолевал здесь в пору создания своего института, предстанут ему сызнова и удесятеренные. А он уже не молодой человек.

Нелегко будет расстаться со своей клиникой, со своей лабораторией, с операционными залами, с Якоби, Реймерсом, сестрой Еленой, стариком Лоренцом. Он не может себе представить, как он будет жить вдали от своей Германии. И дело не только в институте. Тут еще и весь его уклад. Пройдет целая вечность, пока это все войдет в свою колею...

Город выглядит по-праздничному. На улицах толпятся любопытные, охотники поглядеть, как проводится бойкот. Эдгар видит бесчисленные плакаты на дверях, витринах, стенах: «Еврей», «Не покупайте у евреев», «Жид, сгинь, пропади». Повсюду стоят, расставив ноги в высоких сапогах, штурмовики и, разинув глупые рты, орут хором: «Пока не околеют все жиды, ни хлеба, ни работы ты не жди».

Может быть, жена и дочь были правы, и не следовало сегодня отправляться в клинику. Но нельзя бросить пациента Петера Дейке. Петер Дейке, зарегистрированный за № 978, восемнадцати лет, был обречен на смерть до того, как его доставили в клинику. Первая операция не дала результата. Возможно, что и повторная ничего не даст. Во всяком случае, она является единственным средством, которое, пожалуй, может спасти Петера Дейке. Повторную операцию мог бы сделать Реймерс. Но нет. Он не желает увеличивать риск смертного исхода из-за

того, что эти господа постановили провести сегодня свой идиотский бойкот.

Он несется в развевающемся белом халате по длинным коридорам клиники. Все идет своим заведенным порядком. В клинике двадцать четыре врача-еврея. И сегодня, как обычно, все на месте, включая и маленького Якоби, напоминающего те шаржи на евреев, что изображаются в юмористических журналах. Работа спорится, как всегда, о бойкоте ни слова, но за внешне равнодушными лицами Эдгар угадывает скрытое напряжение.

— Подготовьте больного 978, — отдает Эдгар распоряжение сестре Елене. Внезапно появляется Реймерс. С присущим ему несколько грубоватым добродушием он тихо просит Эдгара: — Улепетывайте, господин профессор. Оставаться вам здесь абсолютно бессмысленно. Нельзя знать, что может учинить пьяная чернь. Если вы уйдете, мне, может быть, удастся увести маленького Якоби. Его присутствие здесь чистейшее самоубийство. — Ладно, дорогой Реймерс. Вы свое заклинание изрекли, а теперь приступим к больному 978.

Он производит операцию.

Едва успевают отвезти больного в палату, как они являются. В руках у них список двадцати четырех врачей, служащих в городской клинике. Они спрашивают, где эти врачи, но персонал оказывает пассивное сопротивление, отговаривается незнанием. Предводительствуемые несколькими студентами-фашистами, они устраивают форменную охоту на названных врачей. Едва поймав кого-нибудь, они выводят его на улицу. Они не позволяют врачам снимать халаты, и если им попадается кто-нибудь без халата, они заставляют надеть его. Перед главным входом стоит огромная толпа, и как только появляется белый халат, он мгновенно исчезает в ней, под дикое улюлюканье, свист, лютую ругань.

Добрались до Эдгара. — Вы профессор Оппенгейм? — обращается к Эдгару тип с двумя звездочками на ворот-

нике. — Да, — говорит Оппенгейм. — Номер четырнадцать, значит, есть, — удовлетворенно говорит другой и вычеркивает его имя в списке. — Вы должны немедленно покинуть это учреждение. Следуйте за мной, — приказывает тот, что о двух звездочках. — Профессор Оппенгейм только что произвел операцию, — вмешивается сестра Елена. Это уже не ее обычный тихий голос, ее круглые карие глаза огромны от гнева. — Необходимо, — сдержанно говорит она, — чтобы больной еще некоторое время оставался под наблюдением профессора.

— У нас приказ выставить этого человека на улицу, — заявляет тот, что о двух звездочках.— Мы обязаны выгнать отсюда всех еврейских врачей во имя очищения Германии — и точка!

Одна сестра тем временем вызвала тайного советника Лоренца. Он с грохотом вваливается в коридор, и огромный, в развевающемся халате, движущейся горой устремляется на непрошенных гостей. — Что здесь происходит, сударь? — громыхает он. — Что вы себе позволяете? Я здесь хозяин. Поняли? — Тайный советник Лоренц — один из популярнейших врачей в стране, пожалуй, самый популярный, даже кое-кто из штурмовиков знает его по портретам в иллюстрированных журналах. Субъект о двух звездочках приветствует его древнеримским жестом. — Национальная революция, господин профессор, поясняет он. — Жидов гнать отовсюду. У нас приказ выбросить их из клиники, всего двадцать четыре штуки. — Придется вам, милостивые государи, выбросить заодно и двадцать пятого, старый Лоренц здесь не останется. — Как угодно, господин профессор, — говорит тот, что о двух звездочках. — Мы действуем по приказу. — Седовласый гигант впервые в своей жизни чувствует полное бессилие. Он видит теперь, что профессор Оппенгейм был прав: охватившая страну болезнь не острая, а хроническая. Он вступает в переговоры. — Оставьте в покое хотя бы профессора Оппенгейма. Я ручаюсь за то, что он уйдет из клиники. —

Штурмовик в нерешительности. — Ладно, — говорит он, наконец. — Беру на свою душу. Вы гарантируете мне, господин профессор, что этот человек не прикоснется больше ни к одному арийцу и в течение ближайших двадцати минут покинет это здание. Помните, мы ждем. — Молодчики отпускают Эдгара и уходят.

Но через несколько минут они возвращаются. — Какой это бессовестный ариец позволил сегодня этому еврею оперировать себя? — осведомляются они. Старик Лоренц ушел. Вместо него доктор Реймерс пытается урезонить их. — Не хватит ли на сегодня, господа хорошие? — Он старается сдержать себя, но в его голосе слышится тихое рычание. — Заткнитесь, пока вас не спрашивают, — оборвал его тот, что с двумя звездочками. Какой-то студент ведет их к оперированному. Они входят в палату. Реймерс, за ним Эдгар, чуть пошатываясь, машинально семенит вслед.

Анестезия при операциях дыхательных путей затруднительна. Оппенгейм придумал специальный способ для таких случаев. Больной Петер Дейке находится в сознании, но под действием большого количества морфия. Голова его представляет сплошную белую повязку. Блуждающим взором тусклых глаз смотрит он на ворвавшихся. С искаженным от ужаса лицом, широко раскинув руки, стоит перед кроватью дежурная сестра. Штурмовики отстраняют безмолвную, дрожащую женщину. Наци — народ организованный, они все предусмотрели, в руках у них резиновая печать. — Сволочь, говорят они Петеру Дейке и ставят ему на перевязку печать: «Я, потерявший всякий стыд, позволил еврею лечить себя». Крикнув затем: «Хейль Гитлер», они по-военному, строем, спускаются с лестницы.

Эдгар, словно лишенный воли, словно его тянут на канатах, все время машинально семенит за ними в тупой, бессильной задумчивости. Сестра Елена берет его за руку и ведет в директорский кабинет. Зовет старика Лорен-

ца. Эдгар и Лоренц стоят друг против друга, оба очень бледные. — Простите, Оппенгейм, — говорит Лоренц. — Вы не виноваты, коллега, — с трудом, сухо и хрипло произносит Оппенгейм и несколько раз автоматически пожимает плечами. — Что же, пойду, пожалуй, — говорит он.

— Халат хоть снимите, Оппенгейм,— просит Лоренц.

— Нет, — отвечает Эдгар, — не нужно. Спасибо, коллега. Уж халат я во всяком случае возьму себе.

Есть только один способ защитить культуру — уничтожить фашизм.

И. Эренбург

ЭРИХ ВАЙНЕРТ

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

(Вольная обработка Вл. Нейштадта)

Он пришел и, как был,
Не раздевшись, прилег,
Потому что устал,
Потому что продрог.
Семь часов! Прохрипели
Часы на стене.
Суп кипел и бурлил
На зеленом огне.

Тем часам — бормотать,
Всем супам — клокотать,
У горячих кастрюль —
Матерям хлопотать.
Целый день простояла
Она у плиты.
Материнские ноги
Свинцом налиты.

Посолить — и готово.
«Вставай же, сынок».
Опустил ее руку
Сердитый звонок.

Позвонили опять,
И наперегонки
Затрещали
Отчаянные звонки.

Не к добру, если сразу
Столько звонков...
Входят в комнату пятеро
Штурмовиков.
«Руки вверх!» Револьверы
Нащупали лоб:
Если руку опустишь,
Уляжешься в гроб.

Не смотри на дрожанье
Старушечьих губ.
Посмотри, как кипит
Недосоленный суп.
Всем супам — клокотать,
А часам — бормотать;
За своих сыновей —
Матерям хлопотать.

«Убирайся, старуха,
Прощаться нельзя...
Шагом марш!» И пошли,
Револьвером грозя.
«Сын мой!.. Сын мой!..» «Склонилась
Она, как ветла.
«Мама, только не плакать,
Мама... не пла...»

А потом тишина.
Спи, старуха, одна.
Но всю ночь простояла
Она у окна.

Утро встало в тумане.
Старуха дрожит.
В полицейский участок
Старуха бежит.

В полицейском участке
Высокий барьер.
За барьером высокий
Сидит офицер.
«Господин офицер,
Разрешите узнать...
Господин офицер,
Пожалейте, я — мать!..»

Офицеру не важно —
Мать иль не мать.
Офицеру фамилию
Надобно знать.
«Якоб Фишер?
Собачья улица, пять?
В списках нет. До свиданья.
Прошу не мешать...»

«Господин офицер,
Он один у меня.
Господин офицер,
Пожалейте меня!...»
Офицер деловито
Поправил перо.
«К полицей-президенту
Ступайте в бюро».

Президентский чиновник
Был сух и суров:
«Поищите в казарме
У штурмовиков.

Например, в Темпельгофе».
Старуха дрожит.
К Темпельгофской казарме
Старуха бежит.

«Разрешите узнать,
Господин часовой,
Якоб Фишер еще
Не отпущен домой?»
«Проходи! Проходи!
Справок здесь не дают.
Мало ль Фишеров здесь,
Мало ль здесь, кого бьют».

«Господин часовой,
Господин часовой,
Сжальтесь вы над моею
Седой головой...»
«Убирайся, старуха!»
Старуха дрожит.
В полицейский участок
Старуха бежит.

«Господин офицер,
Господин офицер!..»
Офицер поелозил
Рукой по усам:
«Якоб Фишер?
Собачья улица, пять?
Час назад поступил...»
«Можно ль мне повидать?»..

Господин офицер
Поерошил усы,
Господин офицер
Поглядел на часы,

Господин офицер
Покачал головой:
«Сын ваш умер...
И вид у него... не того...»

У старухи
Задергалась голова.
Завертелись слова,
И пропали слова.
«Мама, только не плакать,
Мама... не пла...»
И склонилась она,
Как седая ветла.

Буря, ярость разлей,
Подымайтесь смелей
За убитых друзей,
За седых матерей!
Всем словам клокотать,
А грозе — рокотать,
За великое дело
Нам всем хлопотать!

ВИЛЛИ БРЕДЕЛЬ

ФЛАГ*

С вечера моросит дождь, склеивает ресницы, липнет к лицу и одежде. От сырой, пронизывающей насквозь мглы ноют кости.

Арнольд поднял воротник пальто и засунул руки поглубже в карманы. Лицо его мокро от дождя. Он выходит на Венденштрассе и еще издалека видит всю улицу, как на ладони. Кругом ни души. Нет и Карла.

Скоро половина первого. До назначенного часа осталась одна минута. Из предосторожности он уже проходил здесь незадолго до полуночи и ничего подозрительного не заметил. Но где же Карл? Не может быть, чтобы он подвел. «А что, если Карл уже засыпался? Может быть, всего несколько минут назад?.. Нет, только не привлекать внимания... Не останавливаться, итти дальше. А что я скажу, если меня спросят, куда я иду? Что вообще можно сказать? Что бы придумать поправдоподобнее? Уже за полночь... Гм... потерял ключ, иду переночевать к приятелю. К какому приятелю?.. Гуго Кольц живет на Нагельсвеге. Нагельсвег, 21. Это, пожалуй, подойдет. Итак, скорей свернуть на Хейденкампвег».

---

* Из романа «Твой неизвестный брат», рассказывающего о подпольной работе коммунистов в гитлеровской Германии.

Арнольд уже стоит у заводской стены. А Карла все нет. Он слегка замедляет шаг.

— Пст! Алло! Арнольд!

Едва слышный, отрывистый шопот. Но Арнольд, у которого напряжен каждый нерв, слышит. Карл стоит в подъезде. Когда Арнольд подходит вплотную и протягивает руку, лицо Карла расплывается в улыбку.

— Все в порядке?

— Ясное дело.

— Захватил что надо?

— Тише! — шипит Карл в ответ. Он напряженно всматривается в маленькое, слабо освещенное окошко проходной будки.

— Слышишь?

Арнольд слышит неясный бой часов.

— Половина! — шепчет Карл. — Сейчас он начнет обход. Через три, самое большое через четыре минуты он вернется. Нам везет: он забрал с собой в будку собак. Только этого я и боялся. Теперь все пойдет, как по маслу.

— А погода? Собачий холод и дождь? Как ты думаешь, может быть, сегодня слишком опасно? Может, лучше отставить?

Карл Фишер медленно поворачивает голову и впивается в лицо Арнольда удивленными глазами: — От-ста-вить? Значит, на попятный?

— Да нет же, просто, если в такую погоду это слишком рискованно, то лучше... Ведь ты не имеешь права подвергать себя опасности.

Карл облегченно вздыхает: — Я уж думал, придется бить отбой! Увидишь, все пойдет, как по струнке.

Прямо перед ними торчит черный силуэт гигантской трубы. Оба одновременно запрокидывают голову и смотрят вверх: Арнольд с застывшим строгим лицом, Карл — слегка улыбаясь. «Я вскарабкаюсь на тебя, как кошка, — думает он, — и завтра на тебя будут смотреть тысячи глаз».

Они слышат шаги. Сторож возвращается после обхода. Доносится его голос. С кем он разговаривает? Неужели с собаками? Ну, конечно. Вот он заходит в будку, возится у печки, садится.

— Пора!

— Пора! — Карл поднимает стоящее позади него большое ведро и идет в темноту. Арнольд следует за ним. Каждый шаг, каждое движение рассчитаны заранее. Вопросы излишни. Каждый знает свою роль до малейших деталей.

Они пересекают улицу, подходят к тому месту, где в заводскую стену упирается склад. Арнольд озирается по сторонам: улица пустынна, окна домов погружены во мрак. Глядя прямо перед собой, Карл подходит к стене, ставит ведро на землю и говорит: — Помоги.

Они упражнялись много дней и в конце концов достигли совершенства. Так неужели теперь, в эту решающую минуту, они потерпят неудачу? У Арнольда дрожат колени. Он вообще сильно взволнован, сознает это — и волнуется еще больше. Карл внешне абсолютно спокоен: его голос и движения полны решимости и уверенности. Он стоит у Арнольда на плечах и, подождав немного, сердито шепчет:

— Ну, давай, же давай!

— Тебе будет слишком тяжело, Карл, оставь его.

— Ты что, спятил? — зашипел Карл. — Давай, давай скорей.

Напрягаясь, Арнольд подает ведро. Когда Карл наклоняется, чтобы принять его, он чуть не опрокидывает своего друга. Тот едва сдерживает крик от сильной боли в плечах.

Ведро исчезает за стеной. Вслед за тем на стену подтягивается и Карл.

Много дней изучал Карл эту дорогу через стену, по крыше склада — к трубе; каждый шаг мысленно проделан им десятки раз. Он знает, что на середине трубы нехватает железной ступеньки и что другие могут оказаться ветхими: труба очень старая и давно вышла из строя.

Карл становится на первую ступеньку и видит над своей головой чудовищно высокий силуэт прямой, как линейка, трубы.

Он карабкается без особого труда. Все дело в нервах. Только не терять спокойствия, не волноваться, не спешить. Со ступеньки на ступеньку поднимается он вверх. Правда, это чортово ведро тянет его вниз, но скоро он от него избавится. Не будь ведра, это было бы просто приятной прогулкой.

Когда же, наконец, будет эта дыра, где нехватает ступеньки? Он останавливается на минутку и смотрит вверх. Никакого провала не видно. Тут он заглядывает вниз, и пальцы его инстинктивно сжимаются крепче вокруг перекладины.

Как высоко! Он уже забрался гораздо выше домов. Улицы стали совсем узенькими. Венденштрассе у него под ногами, будто проведенная по линейке черта.

А что, если разжать пальцы?.. Вздор! Дальше! Проклятое ведро! Ну, ладно — вперед!

Карл взбирается быстрее, поспешно хватает перекладину за перекладиной. Может быть, оставить ведро здесь? Уже достаточно высоко. Без него будет куда проще. Ему кажется, будто гигантская рука тащит его вниз, на землю. И вдруг его пальцы хватают пустоту. Он цепенеет от испуга, но через мгновенье уже вздыхает с облегчением. Он добрался до места, где нехватает ступеньки.

Он снимает с пояса крюк с ведром и вешает его на ступеньку. Теперь можно позволить себе небольшой отдых. Он устраивается поудобней и переводит дыхание.

Долго ли он карабкается? Три, самое большее, четыре минуты. Не может быть! Ему кажется, будто это длится уже несколько часов.

Он говорит громко самому себе: «У меня нервы как канаты. Выдержат. Да и в чем, собственно, дело? Чем это не увеселительная прогулка? Не я первый; другие проделывали почище моего».

Он переползает через пролом и поднимается дальше. Теперь ему легче: ведро не тянет его больше в пропасть. Он старается не глядеть вниз, но не может удержаться: ему хочется знать, высоко ли он забрался. Силы небесные! Да этому не будет конца. Он смотрит вверх и почти готов верить, что труба выросла, стала длинней, выше. Ничего не поделаешь. Вперед, вперед!

Вдруг Карл в испуге замирает: труба качается. Право, качается из стороны в сторону. Он это чувствует совершенно отчетливо. Жуткое ощущение. Всегда ли она качается? Его пронизывает острое желание — повернуть назад. «Назад? Ничего не добившись? А Арнольд? А товарищи? Что же, я трус? Или мне это не под силу?..»

Наплевать! Вперед! Не смотреть ни вниз, ни вверх. Только взбираться! И Карл, не сводя глаз с кирпичей, карабкается все выше и выше...

«Все выше и выше и вы-ы-ше...» — сначала едва слышно, потом смелей мурлычит он себе под нос. И вот он поет все громче и громче и наконец совсем громко: «...Стремим мы в полет наших птиц...»

От пения ему становится легче. Песня помогает... Все выше и выше...

Он уже больше не боится ни холодного ветра, ни раскачивания трубы, ни предательских мыслей, он поет и поднимается, поднимается...

Опять его рука хватает пустоту. Но теперь это уже не пролом, а конец. Осторожно ощупывает он кирпичи. Кладка толще, чем он предполагал. Только бы теперь, в последнюю минуту, не потерять хладнокровия, только бы не сорваться...

Он поднимается на мускулах, обхватывает кирпичи и садится верхом на трубу.

Ну вот и добрался. Обратно будет легче: ведь теперь мы знаем дорогу.

Наверху Карл чувствует себя поразительно спокойно и

уверенно. Он добрался до цели. Теперь уж флаг будет развеваться... Осторожно разматывает он красное полотнище, обмотанное вокруг его тела, и, не теряя времени, начинает привязывать его к громоотводу. Нижний край он затягивает узлом, для верхнего у него есть с собой крепкая скоба, которая должна удерживать флаг на гладком стержне и не давать ему спуститься.

Готово! Теперь скорей назад. Красный флаг должен быть виден всему городу. Обмазать бы еще ступеньки, да попроворней. Видит ли его Арнольд? Неужели он до сих пор трясется? Еще один последний взгляд на плоские крыши цехов и складов, на газомер, на коксовые печи и на дома, словно приклеенные один к другому. Он перелезает через край трубы, отпускает флаг, подхваченный ветром, и скользит вниз.

Спускаться куда легче. Он опять у пролома. Вот и его ведро. Карл срывает тряпку и погружает ее в жидкое мыло. Держась левой рукой, он обмазывает ступеньки. Пусть те, кому вздумается охотиться за флагом, сломают себе шею.

Карл работает с лихорадочной быстротой. Мыло стекает со ступенек. Несмотря на сырость и холод, Карл чувствует, что вспотел и белье прилипло к телу.

Пустое ведро он опять привешивает к поясу. Когда он спрыгивает на крышу склада, в нем подымается волна огромной радости. Дело сделано! Было трудно, но он не спасовал.

Он перегибается через стену. Там, как они условились, стоит Арнольд. Карл протягивает ему ведро, раскачивается на руках и бесшумно прыгает вниз. Не мешкая, но и не слишком торопясь, они переходят через улицу.

Арнольд шепчет: — Здорово!

— Сколько времени это продолжалось? — Сейчас это интересует Карла больше всего.

— Около шести минут.

Шесть минут? Всего-навсего шесть минут? Вздор!

Не может этого быть. Это ошибка. Наверное, гораздо больше!

Молча идут они дальше. Арнольд несет пустое ведро. Впереди вырастают два силуэта. Ведро может их выдать.

— Я сверну на Зюдерштрассе.

— Дай ведро, я брошу в канал.

— На! Что это я еще хотел спросить? Да, ты пел там наверху? «Марш летчиков»?

Карл, улыбаясь, кивает: — Да, для храбрости.

— Для храбрости? Вот как? — Арнольд смотрит на друга, как будто не понимая. И расстается с ним, смущенно бросив:

— Ну, так спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Прежде чем повернуть на Аусшлагервег, Карл останавливается и еще раз смотрит на трубу. Отчетливо вырисовываясь даже в темноте, развевается по ветру и трепещет, как пламя, красный флаг.

ЭРИХ ВАЙНЕРТ

ЗАСТРЕЛЕН ПОЛИЦИЕЙ

Спокойно, мальчик! Будь молодцом!
Сейчас ты простишься с отцом.
Два офицера и полицейский
Отца твоего застрелили злодейски.

Только не плакать! Стойко держись!
Слезами ему не воротишь жизнь.
Три пули — одна ему сердце пробила...
Стисни зубы покрепче, милый!

Сегодня, сегодня еще в рядах
Наше знамя он нес на плечах,
Знамя миллионов, красное знамя.
Во всех демонстрациях шел он с нами.

Поди-ка, дружок! Не нужно скулить!
Вот знамя. Ему уж его не носить...
Отныне ты будешь носить его смело,
Отца своего продолжая дело.

Скоро мы понесем его гроб,
Погладь еще разик холодный лоб...

Он не услышит, он не проснется,
Товарищ наш верный не отзовется.

Верного мы потеряли борца.
Не забывай же его лица.
Вычекань в сердце последним взглядом
Будешь бороться, не зная пощады!

ИОГАННЕС БЕХЕР

ПЕСНЯ О РУБКЕ ГОЛОВ

Греплер-палач в отставку ушел,
Нервами он страдает.
Хлопнулся он головой об пол —
С нервами это бывает.

Он маленькой прачечной владел,
Ему позавидуешь смело.
Он гладил, когда был свободен от дел
Отрезанья голов от тела.

Он был в магазине. Держал утюг.
Воротничок он гладил.
И он улыбался. Но двери вдруг
Вдруг сорвались с перекладин.

И головы в комнату вошли:
Одна, две, три, четыре.
Ног не было. Головы плыли
Без туловищ по квартире.

Четыре были из Альтоны.
Он там их срубил недавно.
А шесть остальных он в Кельне снял,
Пред этим напившись славно.

И собственную голову палача
Они ухватили и били.
О голову головы бились, стуча...
Тут... нервы ему изменили.

И власти задумались, как тут быть?
Ведь случай такой непристоен!
Отныне головы избран рубить
Мясник с лошадиных боен.

И головы падают. Они,
Глаза раскрывая, катятся.
Есть головы злостные. Они
Для рабства никак не годятся.

Но сколько голов ни упадет,
Они отрастают снова,
И если палач одну отсечет,
Их вырастет тысяча новых.

Упорные головы стали у нас.
Железа и стали тверже.
Миллионы голов. Так велик их запас,
Что все отрубить невозможно.

И головы, которым пришлось не раз
Рубку голов увидеть,
Они отомстят, уверяю вас, —
Умеют они ненавидеть.

Вот и вся песня о рубке голов.
Эй, палачи! Замолчали? Жмутся.
Прозакладывать голову я готов —
Те головы до вас доберутся!

БЕРТ БРЕХТ

УЖАСЫ ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ

Известный антифашистский драматург и поэт Берт Брехт изображает в своем цикле пьес тот тыл, который стоит за армиями Гитлера. В многочисленных маленьких сценках проходят различные слои населения Германии — рабочие, крестьяне, солдаты, штурмовики, судьи, врачи, евреи и немцы. Ужасы, зверства царят во всех уголках Германии. С разных сторон поднимается недовольство. Ненависть к фашистам растет все больше и больше.

ГЕРМАНСКИЙ ПАРАД

Когда хвастливо возвестил нам тот,
Кто сам себя назвал посланцем божьим,
Что он к своей большой войне готов,
Что танки, самолеты, броненосцы
Стоят и ждут бесчисленной армадой,
И что, рванувшись по его приказу,
Они покроют воду, небо, сушу, —
Решили мы взглянуть: какой народ, какие люди,
С какими мыслями, надеждами, желаньем
Откликнутся на зов его кровавый,
И мы парад созвали.

Вот катится пестрый ворох
Со стягами, на которых —
Четырехкрючный крест.

С трудом бредут по дороге
Слепой, безрукий, безногий,
Калеки из разных мест.

За войском, готовым к драке,
Ползут на карачках, во мраке,
В его большую войну.
Глушат барабаны и горны
Каждый вопрос непокорный
Людей, идущих ко дну.

А с ними жены и дети...
Пять зим, словно пять столетий.
Глаза от страха мутны.
Идут, отряд за отрядом,
Великим немецким парадом
Всей гитлеровской страны.

НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО

Идут офицеры охраны,
Его речами и пивом пьяны.
И хочет разбойничий сброд,
Чтоб стал скотиной запуганной
Оплеванный, битый, поруганный,
Великий немецкий народ.

(Ночь 30 января 1939 г. Два офицера-охранника, спотыкаясь, бредут по улице).

Первый: Значит, мы все-таки наверху сидим. А факельное шествие прямо величественно! Вчера еще банкроты,— ныне рейхсканцлеры. Вчера ощипанные коршуны— нынче государственные орлы.

(Они остановились помочиться).

Второй: А теперь начнется народное единство. Я ожидаю, что произойдет духовный подъем германского народа в величайшем масштабе.

Первый: Сначала надо еще выцарапать немцев из этой сволочной кучи неполноценных. Куда это мы забрели? Ни одного флага!

Второй: Мы заплутались.

Первый: Паршивое место.

Второй: Квартал преступников.

Первый: Ты думаешь, тут опасно?

Второй: Приличный соотечественник не станет жить в таком вот бараке.

Первый: И везде темно.

Второй: Их дома нет.

Первый: Нет, голубчики дома. Ты думаешь, они смотрят на торжество третьей империи из первого ряда? Отступим-ка под прикрытие.

(Они снова, пошатываясь, пускаются в путь, первый позади второго).

Первый: Разве не в этих местах проходил Канал?

Второй: Не знаю.

Первый: Мы тут за углом марксистское гнездо выкурили.

Они потом уверяли, будто это был католический союз учеников. Все вранье! Ни на одном не было воротничка!

Второй: А как ты думаешь, сможет он создать народное единство?

Первый: Он все может! *(останавливается, словно окаменев, и прислушивается: где-то открылось окно).*

Второй: Это что такое? *(он спускает предохранитель своего револьвера. Из окна высовывается старик в ночной сорочке и раздается его тихий зов: «Эмма, это ты?»).*

Второй: Это они!

(Как бешеный, делает крутой поворот и начинает стрелять по всем направлениям).

Первый *(орет)*: На помощь!

(Из окна против того, в котором все еще стоит старик, раздается ужасный вопль подстреленного человека).

ЯЩИК

С запаянными гробами
Идут они к смрадной яме.
В гробу — останки того,
Кто подлой своре не сдался,
Кто в классовой битве сражался
За наше торжество.

(Квартира рабочего. Женщина и двое детей. Молодой рабочий с женой пришли их навестить. Женщина плачет. С лестницы доносятся шаги. Дверь распахивается).

Женщина: Ведь он сказал только, что заработки теперь нищенские. А разве не правда? У девочки нашей с легкими неладно, а нам не на что молоко покупать. За это ведь ничего не могли с ним сделать.

(Штурмовики вносят большой ящик и ставят на пол).

Один из штурмовиков: Только без сцен. Воспаление легких схватить может всякий. Вот документы. Все в порядке. Только помните — никаких штук.

(Штурмовики уходят).

Ребенок: Мама, папа там в середке?

Рабочий *(подошел к ящику):* Цинковый.

Ребенок: А можно его открыть?

Рабочий *(в бешенстве):* Да, можно! Где у тебя ящик с инструментами?

(Ищет инструменты: жена пытается его удержать).

Жена: Не открывай, Ганс! Они заберут и тебя.

Рабочий: Я хочу видеть, что они с ним сделали. Этого-то они и боятся. Иначе бы они не запихнули его в цинковый ящик. Пусти меня!

Жена: Не пущу. Ты слышал, что они сказали!

Рабочий: Что ж, даже взглянуть на него нельзя? А?

Женщина *(берет за руки детей и подходит к цинковому ящику):* У меня еще цел брат, они могут его арестовать. И тебя могут арестовать, Ганс. Не надо, не открывай. Видеть его мы не смеем! Но не забудем его никогда.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Идут светила врачебной науки.
За труд им платят со штуки,
И каждый трудиться рад.
На то, что пошлют им каты,
Кладут они спешно заплаты
И отсылают назад.

(Палата в клинике Шаритэ. Только что доставлен новый больной. Сестры вписывают его фамилию на аспидную дощечку в головах койки. На соседних койках разговаривают двое больных.)

Первый больной: А у этого что?

Второй: Я уже видел его в перевязочной. Я сидел рядом с его носилками. Он еще в сознании был, но ничего не ответил, когда я спросил, что с ним. У него все тело — одна сплошная рана.

Первый: Незачем тебе было тогда и спрашивать.

Второй: Так я же увидел только, когда его перевязывать стали.

Одна из сестер: Тише, профессор идет!

(Сопровождаемый ассистентами и сестрами в палату входит хирург. Он останавливается возле одной из коек и наставительно говорит):

Хирург: Перед вами, господа, великолепнейший случай, показывающий, насколько важно спрашивать все вновь и вновь, искать все более глубоких причин заболевания, без чего медицина превращается в простое знахарство. У пациента все явления, характерные для невралгии, и долгое время его от нее и лечили. В действительности же оказалось, что он страдает болезнью Рейно, которую этот рабочий нажил себе от работы с пневматическими инструментами, т. е. у него профессиональное заболевание, господа. Лишь теперь можем мы вести лечение правильно. Вы видите на этом случае, насколько ошибочно рассматривать пациента только в клинической обстановке, вместо того, чтобы спросить: откуда этот пациент,

где он получил свою болезнь и куда пациент отправится по излечении. Какие три вещи должен уметь хороший врач? Во-первых?

Первый ассистент: Спрашивать.

Хирург: Во-вторых?

Второй ассистент: Спрашивать.

Хирург: В-третьих?

Третий ассистент: Спрашивать, господин профессор!

Хирург: Правильно! Спрашивать. И, в первую очередь, о чем?

Третий ассистент: О социальных условиях, господин профессор.

Хирург: Надо только не бояться направить свой взор на частную жизнь пациента, которая нередко бывает, увы, весьма печальной. Когда человек вынужден работать в такой профессии, которая, рано или поздно, должна физически разрушить его, и он, так сказать, умирает, чтобы не околеть с голоду, мы не любим слышать о таких вещах и избегаем об этом спрашивать.

(Он подходит со своей свитой к койке нового пациента).

Хирург: А что у этого?

(Старшая сестра что-то шепчет ему на ухо).

Хирург: Ах так. *(Он бегло и, видимо, принуждая себя, осматривает больного. Диктует):* Ушибы на спине и на бедрах. Открытые раны на животе. Еще что?

Старшая сестра (читает вслух): Кровь в моче.

Хирург: С каким диагнозом доставлен сюда?

Старшая сестра: Разрыв левой почки.

Хирург: Сначала надо еще сделать рентген. *(Намеревается отойти).*

Третий ассистент *(записывающий историю болезни):* Причина заболевания, господин профессор?

Хирург: А какая причина указана?

Старшая сестра: Как причина болезни указано падение с лестницы.

Хирург *(диктует)*: Падение с лестницы. Почему руки связаны?

Старшая сестра: Пациент уже срывал повязку.

Хирург: Почему?

Первый больной *(вполголоса)*: Откуда пациент и куда пациент отправится по излечении? *(Головы всех повертываются к нему)*.

Хирург *(откашливаясь)*: Если пациент будет неспокоен, дайте морфий. *(Он идет к следующей койке)*: Ну что, получше стало? Поправляемся, крепнем!

(Осматривает больному горло).

Один из ассистентов *(другому)*: Рабочий. .Доставлен из Ораниенбурга.

Другой *(сурово)*: Стало быть, тоже профессиональное заболевание.

ГЕББЕЛЬСОВСКОЕ РАДИО

(Контора старшего мастера на фабрике. Диктор, стоя возле микрофона, разговаривает с рабочим средних лет, стариком-рабочим и работницей. В глубине служащий конторы и широкоплечий человек в форме штурмовика.

Диктор: И вот мы стоим среди маховых колес и приводных ремней, окруженные усердно и бодро работающими соотечественниками, вносящими и свою лепту, чтобы дать нашему дорогому Фатерланду все, в чем он нуждается. Сегодня утром мы находимся в ткацкой Акционерного общества Фукс, и хотя работа тяжела и напрягается каждый мускул, все же мы видим вокруг только радостные и довольные лица. Но дадим слово нашим соотечественникам *(к старику-рабочему)*: Вы 21 год на производстве, г-н...

Старик-рабочий: Зедельмайер.

Диктор: Г-н Зедельмайер. Ну, г-н Зедельмайер, отчего видим мы здесь только радостные и бодрые лица?

Старик-рабочий *(после некоторого раздумья):* Да ведь они все время зубоскалят.

Диктор: Так. Да и работа легче спорится под бодрые шутки, верно? Национал-социализму чужд человеконенавистнический пессимизм, хотите вы сказать? Раньше было иначе, верно?

Старик-рабочий: Да, да...

Диктор: В прежние времена рабочим было не до смеха, хотите вы сказать. Тогда говорили: ради чего мы работаем?

Старик-рабочий: Да, да, есть такие, говорят.

Диктор: Что? Ах да, вы имеете в виду нытиков, которые всегда есть, хотя их становится все меньше, так как они должны признать, что их нытье бессильно, все идет вверх при Третьей империи, с тех пор как над страной опять есть твердая рука. Ведь и вы *(к работнице)* хотите сказать то же, фрейлейн...

Работница: Шмидт.

Диктор: Фрейлейн Шмидт. На каком из наших стальных гигантов работаете вы?

Работница *(барабанит, как урок):* И потом работа по украшению рабочего помещения, которая доставляет нам большую радость. На добровольные пожертвования нам удалось приобрести портрет фюрера, и мы этим очень гордимся. А также кустами герани, которые своими волшебными красками оживляют серые тона рабочего помещения, предложение фрейлейн Кинце.

Диктор: Итак, вы украшаете цеха цветами, этими прелестными детьми полей? И многое другое наверное изменилось у вас на производстве, с тех пор как изменилась судьба Германии?

Служащий конторы *(вставляет):* Умывальные.

Работница: Умывальные — это личная идея господина директора Раушля, за которую мы ему искренне благодарны. Желающие могут мыться в прекрасных умывальных, когда не очень много народу и нет давки.

Диктор: Да, каждый жаждет быть первым? Верно? И там всегда веселая толкотня?

Работница: На 552 человека только шесть кранов, и всегда скандал. Есть такие бессовестные.

Диктор: Но все происходит в самой дружелюбной атмосфере. А теперь нам хочет еще сказать кое-что господин... забыл его фамилию.

Рабочий: Ман.

Диктор: Значит, Ман. Господин Ман. Скажите-ка нам, господин Ман, что все эти нововведения на фабрике оказали влияние на дух ваших коллег-рабочих?

Рабочий: Как это?

Диктор: Ну, вы радуетесь, что опять все колеса вертятся и для всех рук есть работа?

Рабочий: Конечно.

Диктор: И что каждый в конце недели уносит домой конверт с зарплатой, этого тоже забывать не следует.

Рабочий: Нет.

Диктор: Ведь не всегда так было. В прежние времена не одному соотечественнику пришлось узнать все прелести пособия. И жить на подаяние.

Рабочий: 18 марок 50. Никаких вычетов.

Диктор *(смеется деланным смехом):* Ха-ха-ха! Вот так сострил! Из этого много не вычтешь!

Рабочий: Нет, теперь больше.

(Служащий конторы нервно выступает вперед, так же, как широкоплечий в форме штурмовика).

Диктор: Да, так все получили опять в Третьей империи работу и хлеб. Вы совершенно правы, господин, опять забыл вашу фамилию. Нет колеса, которое бы снова не вертелось, нет руки, которая оставалась бы праздной в Германии Адольфа Гитлера *(Он грубо отталкивает рабочего от микрофона).* В радостном сотрудничестве приступили наши соотечественники к воссозданию своего дорогого германского Фатерланда. Хейль Гитлер!

СЛУЖБА НАРОДУ

Вот лагерные вахтеры,
Шпионы и живодеры —
Служат народу вполне.
Чтоб весел был и не плакал,
Секут и сажают на кол
По самой дешевой цене.

СООБЩЕСТВО

Вот сброд живодеров кровавый,
Их руки болят от расправы,
Врагов они внутренних бьют,
Они их ищут повсюду,
Но кто-то крикнул: не буду!
И кинул в сторону кнут.

ВЕТЕРАНЫ

Их гнали на бойню кнутами,
С подтянутыми животами, —
Стон сотрясал небосвод.
Мы спрашивали: куда вы?
— К победе, на поле славы,
К победе! Вперед... вперед...

КРЕСТЬЯНИН КОРМИТ ТЕЛКУ

Крестьянин дорогой длинной
Шагает с кислою миной.
Ни гроша с поставки зерна!
Чтобы выходить тощую телку,
Ищи корма втихомолку!
И зол он, как сам сатана. .

«ПЛЕБИСЦИТ»

Идут избиратели сбором
На стопроцентный кворум,
Голосовать за кнут.
На них — ни кожи, ни рожи,
У них — ни жратвы, ни одежи,
Но Гитлера изберут.

В КАЗАРМАХ

Солдатам — суп и жаркое,
Чтоб шли на войну в покое,
Пока утроба полна,
Чтобы слепо за Гитлера драться,
Чтоб долго не разбираться —
На кой им дьявол война!

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ БРИГАДЕ

О, пусть далек ваш край — не существует «дали»
Для сердца, что поет, не зная рубежей.
Бойцу почетна смерть — вы эту смерть встречали
В горящих городах, среди немых полей.
О, пусть далек ваш край, великий или малый —
На карте, может быть, не больше он пятна, —
Вас общая мечта в одну семью собрала,
И вы пришли сюда, забыв про имена.
Как просто вы пришли — вам часто цвет неведом
Тех стен, что защищать геройски вы взялись,
Но гордо через смерть идете вы к победам,
Вы в битву, как в наряд весенний, облеклись.
Останьтесь навсегда — раскрыли вам объятья
Лагуны и поля — вам каждый луч горит,
И море наших дней вам громко плещет: «Братья»,
И вашим именем прославлен наш Мадрид!

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ

ГАНС БЕЙМЛЕР

«Рот-фронт!» — он крикнул, умирая.
Ганс Беймлер, ты погиб героем,
Тебя услышали испанцы
И немцы слышали твои,
Француз, и чех, и итальянец —
Тебя услышал весь Мадрид,
И воздух весь, и даже пуля,
Что рождена была на гибель
Твою, услышала тебя.
«Рот-фронт!» — и ты упал на землю
Кастильскую — на землю честных.
Сюда пришел ты издалека,
Чтоб кровью защитить ее.
«Рот-фронт!» О, пусть тебя услышит
Германия проклятых тюрем,
Где палачи сухой топор
Возносят, поражая шею, —
Ту, что никак не хочет гнуться.
«Рот-фронт!» Звучи, греми, свисти,
Как пуля в воздухе, взрывайся
Над морем, над землей, под небом,
Среди созвездий... Да, везде,

Пока молниеносный крик
«Рот-фронт!» навеки не вонзится
В сердца, что верят, помнят, любят
И повторяют гордый крик,
С которым умер ты, Ганс Беймлер.
«Рот-фронт!» Мадрид умеет помнить.
Он будет содрогаться криком,
Пока не пересохнет горло
Его винтовок... Френте Рохо,
«Рот-фронт!»... Свистит печальный поезд.
Пред ним Испания. И, шапки сняв,
Стоят, поникнув головой, деревни,
Поселки, города... «Рот-фронт!»
Между садов и апельсинных
Умолкших рощ, в кругу знамен
Его Валенсия встречает,
Ей дорог этот гордый прах.
«Рот-фронт!»... Ты слышишь ли, Ганс Беймлер?
Вот Каталония: синеет
Морская гладь... оливы... в гору
Уходит виноградник... Вышла
Навстречу Барселона, Рамбля...
«Рот-фронт!»... И вижу я Москву,
На Красной площади народ
Стоит в безмолвии глубоком,
Поет труба, и вот могила
Твоя закрылась... Френте Рохо,
«Рот-фронт!»...

Каждый акт, которым фашизм думает утвердить свою силу, покрывает его все большим позором в глазах всего мира. Это чудовище, которое раздувается, пожирая самого себя, и оно сожрет себя без остатка.

Французский писатель *.*

АНРИ БАРБЮС

ЗА МИНУТУ ДО КАЗНИ

Старинный топор немецких палачей снова заработал. Это произошло в Альтоне, Пруссии, 1 августа. Церемония не была публичной. Она совершилась в стенах тюрьмы. Но в это отрезанное от мира место, в это узилище на открытом воздухе согнали из их нор политических заключенных. 75 человек стояли, выстроившись у стены, вокруг помоста, где высилась плаха и стоял человек с топором, окруженный, подобно своему средневековому коллеге, главарями дикой орды. На уединенном тюремном дворе национал-социалисты воскресили при помощи заключенных кусок средневековья. Страшная реальность, ибо перед помостом и его средневековым снаряжением стояли с обнаженными головами и скованными руками четверо немецких рабочих, чтобы принять смерть из рук находившихся там, наверху, средневековых привидений.

Фашистский чрезвычайный суд приговорил их к смерти за то, что они, якобы, при столкновениях, имевших место

в том же городе Альтоне 17 июля 1932 года, явились причиной смерти двух наци.

Альтона — крупный промышленный центр. В ней есть обширные, густо заселенные рабочие районы, особенно один, с узкими улочками, в котором живут почти исключительно или коммунисты, или рабочие, известные всем как революционеры. Этот-то район и избрали наци в июле 1932 года, чтобы устроить там, при «демократическом» правительстве, торжественную демонстрацию штурмовиков. Чем могла быть в то время подобная демонстрация, как не провокацией? Даже буржуазная печать квалифицировала ее именно так. Однако полицей-президент... разрешил ее. И дал для охраны штурмовиков на пути их следования гигантский отряд полицейских.

Из окон домов изнасилованного таким образом района высовывались рабочие и выражали свою ненависть к наци и к их полицейским ангелам-хранителям.

Тогда-то и раздался выстрел. Если верить большинству газет, в то время еще не унифицированных, то выстрел был произведен из рядов полиции, которая чувствовала угрозу со стороны столь бесстыдно раздражаемых ею рабочих.

Массу провоцируют; она ропщет; тогда стреляют, — и столкновение готово. Это общеизвестно. Так всегда бывает. Четырнадцать человек было убито в Альтоне; язык фактов вполне ясен: на мостовой остались два наци и двенадцать рабочих.

Последовали аресты. Затем — предание суду. Обвинение было предъявлено не провокаторам, а жертвам, рабочим. Четверых обвинили в убийстве: Лютгенса, Вольфа, Мюллера и Тэша. Процесс был гнусным фарсом.

2 июня, спустя 11 месяцев после событий в Альтоне, обвиняемые были приговорены к смерти.

Приговор взволновал всю Альтону. Поэтому власти держали в тайне день казни. Они избрали для нее... 1 августа, т. е. именно тот день, который празднуется рабочими всего мира как день борьбы против войны.

И еще одна мысль понравилась им: отменить гильотину, ибо она французского происхождения, а главное — машина современная. Она неуместна там, где люди планомерно возвращаются к варварству своих предков. Старая постановка была возобновлена. Премьера состоялась при помощи эшафота, плахи и топора.

Люттенс был первым, кто взошел на стоявший среди двора помост, где его уже ждали палач с топором и несколько избранных наци, которых допустили на это почетное место. Люттенс шел со скованными руками, такой же непоколебимый и спокойный, каким был во время процесса: «Я умираю за пролетарскую революцию!» — крикнул он перед тем, как добровольно подставить шею под топор палача. Лезвие со свистом обрушилось на него, и горячая кровь оросила доски помоста.

Затем Вольф вторым поднялся по ступеням в красных пятнах.

— У вас, может быть, есть последнее желание, — услышал Вольф вопрос, задаваемый согласно старому, лицемерному и, о, столь немецкому обычаю.

— Да, — ответил он, — мне хотелось бы в последний раз хорошенько потянуться.

С него сняли оковы.

Медленно, стиснув кулаки, словно после долгого сна, поднял он и вытянул руки, выше, выше, и вдруг сбрушил их со всей силой прямо в лицо ближайшему из стоявших рядом с ним штурмовиков. Фашист упал, обливаясь кровью. Воздух содрогнулся от крика: крик ужаса, крик торжества, крик удовлетворения.

Вольфа и двух оставшихся поспешили прикончить.

* * *

Пусть пролетариат всего мира вечно видит перед собой этот жест одного из своих собратьев.

Когда французских дворян вели на гильотину, они умирали с жестом отжившего, гнилого класса.

Когда на гильотину всходили вожди французской революции, то самые громкие слова не могли стереть с их последних часов разочарование, скептицизм и безнадежность.

Когда наступили последние часы приговоренного к расстрелу немецкого буржуазного революционера Роберта Блума, то он, несмотря на свою стойкость, писал прощальные письма, полные тоски.

Но этот рабочий, приговоренный к смерти за то, что действовал как пролетарий, который, едва освободившись от цепей, поднимает кулаки и обрушивает их на врага, — это великолепный образ нового боевого поколения рабочих. Даже на пороге могилы сжимает он кулак и наносит удар, зная, что через мгновенье он уже потеряет всякую связь с жизнью, он возвещает своим последним действием о мощной боевой силе молодого рабочего класса.

Смертью своей он показал всем и вся:

Под цепями, которыми сейчас скован рабочий класс, вздымаются мускулы, пламенеет горячая воля.

Еще в наши дни, в дни, когда капитализм защищает себя руками бандитов, рабочие разобьют свои оковы, поднимутся миллионы кулаков и — как за минуту до казни в Альтоне — вобьют свою волю классовому врагу в лицо.

Посвящается
Долорес Ибаррури
[Пассионарии]

ЛУИС ДЕ ТАПИА

МУЖЕСТВО

Твои слова звенят, как медь,
Для всех веков и поколений:
«Нам лучше стоя умереть,
Чем жить, упавши на колени.»

Не нужно нам бандитских свор,
Их топоры — в кровавой пене,
И кровь течет с их острых шпор...
«Нет, мы не станем на колени!»

Скликает колокол народ,
Средь городов, в глуши селений
Для нас построен эшафот...
«Нет, мы не станем на колени!»

Да, Пасьонария, в тебе
Душа великого народа,
Вся жизнь твоя — призыв к борьбе.
Ты, Пасьонария, — свобода!

Чем жить, упавши на колени».
Твои слова звенят, как медь,
Для всех веков и поколений
«Нам лучше стоя умереть,

И мой народ, внимая им,
Ответит с мужеством героя:
«Мы на коленях не стоим,
Мы умереть сумеем, с т о я».

Но знаю я, он не умрет
Средь гор своих, в степях безбрежных
Он силу новую найдет
И сокрушит врагов мятежных.

Пред нами Франко поползет,
Пред нами склонит он колени,
Но пусть площадь он не ждет —
Нет для него у нас прощенья...

ХОСЕ ЭРРЕРА-ПЕТЕРЕ

КОМИССАР

Его слова — в бою снаряды,
Спокоен пульс, могуч удар —
Он тверд и смел — он весь, «как надо».
Привет, военный комиссар!
Ты вырос сам в войне гражданской,
В бойцах твой опыт повторен,
О, новый Фурманов испанский,
Тобой Чапаев закален.
По фронту ты ступаешь твердо,
Как будто собрано в тебе
Все то, чем сердце бьется гордо,
К чему стремимся мы в борьбе.
И дисциплина и сознанье,
Что мы за лучший бьемся строй,
Готовность смелая к страданью
И клятва, данная тобой.
Есть у фашизма все для боя,
Есть деньги, пушки и штыки,
Но комиссаров и героев
Не выдвинут его полки.
Прямой, отважный, молчаливый,
Спокоен пульс, могуч удар —
Перед полком неторопливо
Идет военный комиссар.

Уж небо пламенем объято,
Уж самолеты вьются в нем,
На поле сыплются гранаты
Его взрыхляющим дождем,
Но и в разгаре самом боя —
Спокоен пульс, могуч удар —
С суровой твердостью героя
Стоит испанский комиссар.
Сквозь волны пламени и дыма
Бойцов к победе он зовет,
Он им кричит неутомимо:
— Вперед, товарищи, вперед!
Пусть рядом падают гранаты,
Он выиграет этот бой,
Он, как «герои из Кронштадта»,
Вошедший в нашу жизнь герой.
Его слова — в бою снаряды,
Спокоен пульс, могуч удар —
Он тверд и смел, он весь, «как надо».
Привет, испанский комиссар!

НАРОДЫ ЕВРОПЫ ПОД ИГОМ ФАШИЗМА

(по материалам газет)

Железный сапог германского фашизма наступил на горло десятка стран. Народы Франции, Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, Югославии, Греции, чехи и поляки — многие миллионы людей несут на своей шее тяжелое ярмо фашистских насильников. Оккупационные немецкие войска хозяйничают в Румынии, Финляндии, Венгрии, Болгарии, как в покоренных странах.

Германский фашизм терзает завоеванные страны и покоренные народы. Он давит эти страны, обрекая их население на нищету, голод и разорение. Более миллиона поляков, сотни тысяч французов и сербов, голландцы, норвежцы, датчане принудительно, как рабочий скот, вывозятся в Германию на каторжные работы для нужд фашизма. Представители так называемой «высшей расы» — германские фашисты — низвели побежденные ими народы на положение рабов, людей «второй категории».

... «Мужественно продолжает борьбу народ Греции. Несмотря на то, что за каждого убитого немецкого солдата расстреливаются десятки людей, в греческих городах и деревнях почти ежедневно таинственно исчезают немецкие офицеры и солдаты.

31 мая германское командование в Афинах вынуждено

было признать «1) германские военные флаги были сняты с общественных зданий и разорваны на куски; 2) население прячет продовольствие, чтобы оно не попало германским солдатам; 3) греческое население выражает сочувствие английским военнопленным; 4) греческая печать отказывается подчиниться новому порядку». Германские власти объявили, что за повторение подобных действий будет беспощадно применяться смертная казнь.

... В годовщину германского вторжения в Голландию по всей стране в тысячах экземпляров были распространены нелегальные воззвания. Вся страна демонстративно отметила этот день как день траура. На многих домах были вывешены голландские и английские флаги.

... В Амстердаме по ночам германские фашисты стали попадать... в воду. Эти случаи настолько участились, что фашистские власти вынуждены были снабдить все германские патрули веревками для спасения утопающих и развесить повсюду спасательные пояса. Недавно у бельгийской границы было организовано крушение немецкого воинского поезда, а близ Лейдена взорван склад немецких боеприпасов.

Широкие массы голландского народа применяют против фашистских завоевателей самые разнообразные способы борьбы. Владельцы книжных магазинов, которых немцы обязали выставить портреты Гитлера, окружили эти портреты книгами, озаглавленными: «Как научиться плавать», намекая на тщетные усилия Гитлера организовать вторжение в Англию через Ла-Манш. Недавно в Амстердаме в трамвайный вагон вскочил насквозь промокший под дождем германский офицер. Кондуктор с невинным видом, но так, чтобы слышал весь вагон, спросил его: «Вы уже возвратились?» И каждый понял, что кондуктор намекает на гитлеровское «вторжение в Англию».

(«Правда» 1 июля 1941 г. «Право и героизм — против крови и грязи».)

20 мая в Антверпене произошел следующий характерный случай. В одном из рабочих предместий города возвратившийся домой мальчик принес своей матери хлеб, который он украл в магазине. Мать побила сына и хотела заставить его отнести украденный хлеб обратно. Мальчик отказался, и мать снова начала его бить. Вокруг собрались женщины-соседки. Узнав в чем дело, они пришли в большое возбуждение. В толпе женщин раздались крики: «Мы голодаем, а наши дети идут воровать!»

Толпа женщин направилась по улицам и звонила у подъездов, призывая всех женщин квартала присоединиться к демонстрации. Потом женщины направились к городскому управлению. Как рассказывают приехавшие из Антверпена очевидцы, когда демонстрация подходила к городскому управлению, в ней насчитывалось уже несколько сот женщин. Присоединявшимся к шествию мужчинам женщины говорили:

«Вы обождите. Теперь не ваша очередь. Вам придется действовать позднее. Теперь мы будем требовать, и никто не посмеет нам ничего сделать».

Женщины собрались около городского управления и требовали хлеба. Находившийся в управлении германский офицер-гитлеровец начал кричать на женщин и требовать, чтобы они немедленно разошлись. При этом он хватался за револьвер. Но женщины кричали ему в лицо:

«Стреляй! Нам нечего больше терять!»

Прибывшие на место гитлеровские охранники пытались силой рассеять женщин, но женщины давали жандармам пощечины и кричали: «Мы вас не звали в нашу страну! Убирайтесь к себе и устанавливайте там свои порядки!»

Жандармы арестовали было одного мужчину, но женщины его освободили. Прибывшие новые отряды гитлеровских охранников с трудом рассеяли демонстрацию. Было арестовано 12 человек.

(«Известия», 25 июня 1941 г. «Голодные демонстрации в Бельгии»).

В эти суровые дни я вспоминаю прекрасный, свободолюбивый Париж. Его предали сообщники немецких фашистов. Военный губернатор генерал Денц не только объявил Париж «открытым городом»,— он приказал стрелять по всем, кто вздумает защищать столицу. Население покинуло Париж. Старики уходили пешком, говоря: «Мы не хотим жить под ними!...» Немецкие фашисты вошли в пустой город. Они удивленно спрашивали: «Правда, что это Париж?...» На параде, который они устроили, присутствовало сорок — пятьдесят проституток. Их засняли кинооператоры и потом показывали как «население Парижа». Застряли в городе несколько сот тысяч несчастных людей: больные, инвалиды, женщины с детьми. Они сидели в домах с закрытыми ставнями. Я глядел, как фашисты шагали по пустынным улицам. На одном углу стояла мать с маленьким ребенком. Она закрыла мальчику глаза и сказала мне: «Только, чтобы он не видел!» Старушка выглянула из ворот; германский офицер хотел ее сфотографировать: она закрылась и крикнула: «Лучше убей!»

Неделю спустя немцы стали пригонять беженцев с дорог. Они вернули четверть населения. Люди возвращались в родной город, как в тюрьму. Улицы попрежнему были пусты. Париж узнал, что такое сапог германских фашистов.

Ресторан. Заходит немецкий офицер. Молоденькая подавальщица снимает фартук, говорит: «Я ему не буду подавать» и уходит. Метро. Контролер пробивает билеты. Подходят фашисты, они, конечно, не утруждают себя покупкой билетов. Контролер уходит: «Не хочу работать на них!»...

Интервенты напечатали «оккупационные марки», раздали эти фальшивые деньги своим офицерам и солдатам, начали «покупать». При мне один офицер забрал девятьсот пар дамских чулок. Денщики выносили ящики, кульки. Когда я уезжал из Парижа, я увидал багажные вагоны воинского поезда на Берлин. Они были набиты награблен-

ным добром. Фашисты все забирали — от яиц до дверных ручек, от мыла до музейных картин. А магазины, которые были заперты, они попросту взломали.

Маленькая гастрономическая лавочка. Приходит фельдфебель, кричит: «Где кофе?..» Хозяйка отвечает: «Кофе больше нет». Я перевожу. Немец негодует: «Позавчера было. Куда спрятали?» Я перевожу: «Кофе теперь в Германии. Пускай господин фельдфебель съездит за кофе в Берлин». И хозяйка говорит мне: «Арестуют? Убьют? Что же, под ними нам не жить...»

Немецким фашистам выдавали в день двести пятьдесят граммов награбленного масла. Население было обречено на голод; оно получало в день пятьдесят граммов хлеба, сто сорок граммов мяса в неделю. Германские офицеры в ресторанах пожирали по курице на человека, яичницу из десяти яиц и, усмехаясь, смотрели на голодных парижан, которые стояли в очередях, надеясь получить восьмушку хлеба.

Фашисты унижали гордый город. Они маршировали по площади Конкорд, по прекрасной площади, о которой Маяковский написал: «Эта площадь оправдала б каждый город» и пели: «Французы — дикие свиньи. А мы их заколем! А мы их заколем! Мы умеем коптить окорока». Они показывали во всех кино фильмы: бомбардировка Парижа, парад на Елисейских полях, расстрел беженцев на дорогах, с надписями: «Вот судьба чересчур горделивой Франции!...» Они сносили памятники французским полководцам. Они повсюду повесили свои флаги с отвратительным паукомсвастикой. На центральной улице Рояль поместился фашистский штаб. Парижане должны были сходить с тротуара, проходя мимо. Фашистская полиция — гестапо — каждый день хватала людей. Арестовали и гордость мировой науки— профессора Ланжевена, и тысячи рабочих. За уничтожение немецких плакатов смельчакам был обещан расстрел. Фашисты наняли помощников — ренегата Дорио, Лаваля, которого можно было купить оптом и в розницу, и еще сот-

ню предателей. Никто больше с захватчиками не общался. Разве что проститутки...

Оккупанты живут в пустыне. Когда они заходят в кафе, французы уходят. Когда раздаются звуки сирены, возвещающей воздушную тревогу, французы демонстративно аплодируют: приветствуют бомбардировщики, которые прилетели бомбить германских фашистов. Оккупанты провезли по улицам Парижа пленных англичан-летчиков с надписью: «Вот люди, которые уничтожают французские города». Население Парижа устроило пленным овацию. Люди говорят: «Все, кто против Гитлера,— за нас...» В ноябре на Елисейских полях студенты устроили антифашистскую демонстрацию. Многие были убиты. Восемнадцать студентов фашисты расстреляли. Но студенты не угомонились. Пришлось закрыть все школы, а сотни студентов были отправлены в концентрационные лагери, где палачи с восьмилетним стажем пытают заключенных. Парижане, доведенные до отчаяния тупостью и жестокостью немецких фашистов, идут на все. Так, например, из кафе «Даркур» выкинули с третьего этажа германского офицера, который оскорбил француженку. Недавно на узенькой улочке в квартале Сен-Поль ночью подстрелили двух оккупантов. В Сене возле Сен-Клу выудили труп немецкого полковника.

Оккупанты хотели заставить французских рабочих работать на себя. На заводах Ситроена, Рено, «Гном»' они решили ремонтировать самолеты и танки. Что же, парижские рабочие поработали! Отремонтированные самолеты недалеко улетели. Танки застряли под самым Парижем. Искали, кто подстроил, и не нашли. Рабочие были единодушны. Тогда германские фашисты стали насильно отправлять парижских рабочих в Германию — на каторжные работы.

Французские патриоты передали по радиостанции, не подчиненной немецкому контролю: «Пишите на всех стенах города букву V — первую букву слова Victoire (победа)». Патриоты хотели проверить, много ли парижан слушают их тайные радиопередачи. И три часа спустя все стены были

покрыты буквой V — ее писали мелом, углем, краской. Она глядела на оккупантов отовсюду.

Даже дети, парижские «гамены» — озорники и насмешники, поют в лицо фашистским офицерам: «Ты врешь, ты врешь, ты скоро отсюда уйдешь» — на мотив старого сентиментального романса.

Французский народ был жестоко наказан за свою беспечность, за привязанность к легкой жизни, за то, что он позволил фашистской «пятой колонне» занять командные посты. Теперь французский народ закалился. Он готов кинуться на захватчиков. Я знаю отвагу французского народа — я видел Марну и Верден. Я понимаю, почему пугливо озираются по сторонам немецкие фашисты в мнимо спокойном Париже. Мальчишка поет: «Ты скоро отсюда уйдешь...» Конечно, им придется не уйти — убежать из Франции. Но не все убегут...

(«Известия», 26 июня 1941 г. «Париж под сапогом фашистов» И. Эренбург.)

Это было год тому назад в небольшом французском городе на берегу Луары. За неделю до того гитлеровские солдаты заняли город. Мост, уничтоженный германскими бомбардировщиками, восстанавливали французские пленные. Они работали под брань немецких фельдфебелей. Был знойный день. Француженка принесла пленным кувшин с водой. Ее арестовали: она нарушила запрещение приближаться к пленным. Приказы, расклеенные на стенах, гласили, что за это полагается смертная казнь.

Южная часть города была разрушена авиацией. Среди мусора валялись утварь, школьные учебники, разбитые статуи маленького музея. Пахло трупным смрадом — под развалинами были погребены жители городка, который прежде славился виноградниками и замком шестнадцатого века. Вдоль дороги высились шесты с кепками, женскими головными уборами, детскими шапочками — это были братские могилы беженцев, расстрелянных гитлеровскими летчиками.

Запах разложения гнал людей прочь. Только одна женщина не уходила, — обезумев, звала она мертвых детей.

А на другой половине города, уцелевшей от бомбардировок, шла работа: новые хозяева вывозили добро. Они разделились на отряды. Одни тащили с мельницы муку, другие забирали из магазинов кофе, консервы, мыло, сахар, третьи отвинчивали дверные ручки, снимали решетки с балконов, выносили медные тазы, ступки, кастрюли. Некоторые гитлеровцы отдыхали, пили коньяк, ели ложками сливочное масло, общипывали куриц.

На площади было кафе «Свиданье друзей», обыкновенное провинциальное кафе с красными бархатными диванами. В мирное время здесь завсегдатаи спорили о мировой политике, играли в карты или рассматривали иллюстрированные еженедельники. Комендант города приказал открыть кафе. Молодая служанка, с припухшими от слез глазами, закрывалась от мира подносом, как щитом. Было пусто; только в темном углу сидела женщина с двумя детьми — беженка; да еще старичок грустно покачивался на стуле, вытирая потное лицо.

Вошел немецкий офицер с тяжелой челюстью, с мутными глазами. Он вежливо поздоровался. Никто не ответил. Он хотел быть особенно изысканным; зачем-то подошел к женщине с детьми и спросил: «Разрешите взять стул?...» Женщина пристально на него посмотрела и ответила: «Вы взяли нашу страну без спроса. А со стулом церемонитесь?»... Он не понял иронии или сделал вид, что не понял, поблагодарил. Женщина с детьми ушла. Офицер скучал. Он попробовал заговорить со служанкой: он немного говорил по-французски. Служанка отворачивалась, молчала. Офицер упорствовал: «Красотка, нельзя, быть такой молчаливой»... Наконец, она ответила: «Сударь, я не могу с вами разговаривать: я — француженка» ...Тогда он рассердился и, забыв напускную галантность, крикнул: «Француженка? Скажите! Поглядите на себя в зеркало — вы негритянка! Ваша мамаша наверно спала с негром»... Он вышел. Слу-

жанка плакала: «Почему у нас не было танков?...» Я не знал, как ее утешить. А старичок, качаясь, говорил: «Плакать нечего — надо убивать...».

Напротив кафе помещалась школа. В ней разместили беженцев. Учительница ухаживала за детьми. Подошел немецкий комендант, низкий, тучный; в глазу блестел монокль: «Очистить помещение для солдат. И хорошенько вымыть полы после этой публики — пусть они сами вымоют!» Учительница попробовала запротестовать. Он плохо понимал, что она говорила, и в досаде ответил: «Хватит! И потом извольте говорить по-немецки, чорт возьми!..»

(«Правда» 29 июня 1941 г. «Что несут фашисты». И. Эренбург)

Немецкие фашисты не только грабят страну, но и подвергают ее граждан неслыханным унижениям. 2 мая было опубликовано сообщение «сектора по охране морали в Белграде». В этом сообщении говорится, что на территории общины Белграда вводится обязательная проституция для женщин, занимающихся ею тайно. Таким образом, «узаконяется» право фашистских завоевателей на тело женщин оккупированной Сербии, так как при установленном порядке ничего не стоит обвинить любую женщину-сербку в тайной проституции и засадить ее в дом терпимости.

Первым шагом завоевателей на поприще экономики оказалось обычное, веками известное мародерство: солдаты и офицеры немецкой армии группами и «врассыпную» заходили в дома и магазины, забирая все, что «плохо лежит». Через несколько дней это приняло несколько более «упорядоченные» формы, когда рядовые и чины немецкой армии стали довольствоваться лишь бесплатным «уносом» из магазинов тех вещей, которые им лично требовались: белья, отрезов на костюмы, дамских чулок, шелка и т. д.

(«Известия», 1 июля 1941 г. «Германские фашисты в Югославии». В. Щукин)

...Издающаяся в Белграде газета «Општинске новине» опубликовала следующий приказ командующего германской армией: «Ночью группой неизвестных сербов в Белграде были убиты два германских солдата. Утром по моему приказанию расстреляно из среды местного населения 100 человек. Впредь за каждого убитого германского солдата будет расстреливаться 100 сербов».

(«Комсомольская правда», 24 июня 1941 г., «Германский террор в Югославии».)

На стенах белградских домов забелели объявления: «Все евреи 19 апреля в 8 часов утра обязаны явиться в помещение белградской полиции. Неявившиеся будут расстреляны». Евреев заставили носить желтые повязки с надписью «еврей», принуждали их закапывать полусгнившие трупы, восстанавливать канализацию. Волчья свора гестапо (германская тайная полиция), быстро наводнившая Белград, старалась всяческими мерами унизить евреев. Впрочем, это им не всегда удавалось. Издевательства фашистских псов вызвали горячее возмущение жителей Белграда, еще больше усилили их ненависть к германским захватчикам. И нередко можно было видеть, как белградские мужчины и женщины подходили с узелками к месту работы евреев, делились с ними своим скудным пайком, приносили пищу и воду.

(«Комсомольская правда», 26 июня 1941 г. «Фашистский террор в Югославии»)

ПИСЬМО ИЗ СЛОВАКИИ

Письмо словацкой крестьянки. Она — катсличка и никогда раньше ничего общего не имела с политикой.

Дорогой Лако! Прежде всего мы живы, коровы отелились. Фамилия сзади на конверте, как ты видишь, не наша, они вскрывают все письма и арестовывают очень многих людей за то, что те пишут правду.

Я надеюсь, ты здоров, и да благословит тебя бог. Наша жизнь тяжела, и один бог знает, что еще может случиться. Нам пришлось отдать всю пшеницу. Они приехали на повозках из М. и забрали ее. Немецкий офицер дал нам сто крон и какую-то бумагу. В бумаге написано, что мы получим восемьсот крон в марте и остающиеся семьсот крон в мае, но бабушка говорит, что это ложь. А если это даже и правда, то все равно к тому времени эти деньги не будут ничего стоить. Все страшно дорожает.

Дорогой Лако, мы часто думаем, что бы ты стал делать без своего любимого табака. Сахар здесь большая редкость — его называют белая тайна. В М. они посадили дюжину ребят за пение стишков:

Мы моемся без мыла,
Мы — без еды.

Среди арестованных был Жано В. Хлинковская стража сначала избила его, но ночью один стражник подошел к Жано и спросил его: «Ты не забудешь меня потом?» А когда Жано не ответил, он добавил: «Ты не должен думать, что мы звери. Мы должны делать то, что делаем». Но среди них есть настоящие звери. Ты помнишь С.? Он был с ними. В рождественскую ночь он ушел арестовывать людей в Р. А на другой день его нашли в маленьком озере налево от дороги. Они выгнали чехов, евреев и многих словаков. Теперь у них нехватает образованных людей для учреждений. В Рузомбероке, Братиславе, Тренсианске, Пеплисе, в М. и Р. учреждения полны немцев. Они не умеют разговаривать с нашим народом... Нас освободили от чехов, и теперь немцы сидят у нас на шее. В Р. крестьяне разрушили контору по сбору налогов.

Мы получили приказ культивировать землю. Отец говорит, что все равно у нас будет плохой урожай. Я всегда боюсь, когда он говорит такие вещи, кто-нибудь может услышать и донести властям.

Знаешь ли ты о том, что многие из М. убиты в польской

войне? Им пришлось потом разоружить много воинских частей. 30 человек сидят в военной тюрьме за то, что пели запрещенную песню.

Сано Метч приехал к нам в деревню. Какая большая честь! Ведь он член кабинета. Полиция ходила из дома в дом и приказывала мужчинам, женщинам и детям присутствовать на митинге. Он говорил нам о новой Словакии и о том, что мы должны быть благодарны великому вождю; поднялся большой шум, и Сано Метч рассердился. Он закричал: «Кто недоволен новым государством?» Мы в ответ закричали: «Мы довольны». Но затем он разрешил всем задавать вопросы, и кто-то спросил: «Что если бы нам избавиться от иностранцев, не получать приказов о культивировании и иметь сахар подешевле и еще кое-что». В ответ Сано Метч стал описывать будущее, какое оно будет счастливое и прекрасное, мы должны только иметь терпение, и новый порядок окажется превосходным. Но поднялся крестьянин и спросил: «Что если попробовать это по-другому?» «Как по-другому?» — спросил Сано Метч. «А так, мы попробовали немецкий путь, давайте теперь испытаем русский путь». Многие закричали: «Да! Давайте, попробуем способ, которым русские разрешили вопрос в Польше». Сано Метч страшно разозлился и закричал: «Это невозможно! Нам всем пришлось бы расстаться с жизнью!» Тогда крестьянин-старик закричал: «Хорошо, расстанемся с ней, если мы избавимся от болезни». Сано Метч был окончательно взбешен и закрыл митинг...»

Напечатано в американском журнале «Нью мэссес» 23/IV 1941 г.

Сорвавшаяся с цепи страсть к разрушению — вот все, что есть у фашистов.

Генрих Манн

В чешских театрах и кино фашистские власти вывесили объявления, в которых зрителям категорически воспрещается под угрозой очистки зала... кашлять, ибо раньше, когда на экране появлялись волчьи морды фашистских «тузов», зрительный зал разражался громким кашлем. Во многих формах народ выражал свое недовольство.

Впрочем, несмотря на все запрещения, в кинотеатрах бывают и открытые демонстрации протеста — посетители выкриками комментируют демонстрируемые кадры. Кончается это, разумеется, репрессиями властей против зрителей и закрытием кино на несколько недель.

...В одной деревне в Влашиме деревенские девушки и парни устроили как-то танцовальный вечер. Веселье продолжалось недолго: на вечер явились гитлеровские молодчики и стали орать во всю глотку фашистские песни. Началась драка. Фашистов изрядно побили и с позором выгнали из помещения. Ночью на деревушку нагрянули агенты гестапо и увели 60 деревенских юношей в тюрьму. Там среди них безуспешно старались найти молодого крестьянина, который ранил германского унтер-офицера. Всех арестованных, кроме пяти человек, постепенно освободили. Но этих пять так мучили, что от них скоро остались только живые трупы. Крестьян топтали, ломали им руки, часами били, чтобы они признали себя виновными. Потом эти юноши не были в состоянии ни сидеть, ни стоять, ни ходить.

(«Комсомольская правда», 28 июня 1941 г. «Чешская молодежь под гнетом фашистских оккупантов».)

Как сообщило недавно лондонское радио, в одной из деревень Польского генерал-губернаторства германские власти вытащили ночью из постели 500 крестьян — женщин, детей и стариков — и расстреляли их без допроса.

Мне удалось за несколько дней до нападения озверевших германских фашистов на советские границы вырвать-

ся из Варшавы и приехать в СССР. Я считаю своим долгом рассказать во всеуслышание о тех гнусных преступлениях, которые совершают гитлеровцы в Польше.

Польский народ на протяжении всей своей истории никогда не переживал ничего подобного тем страданиям, которые приходится ему испытывать сейчас. Страна растоптана фашистским сапогом. Люди порабощены, унижены. В кварталах Варшавы царят голод и нищета, свирепствуют болезни...

На улицах города мне неоднократно приходилось быть свидетельницей душераздирающих сцен. Я видела ребенка, который прогневил чем-то германского офицера. Офицер ударил мальчика. Потом остановился — ему пришла в голову «удачная мысль»: он подозвал полицейского поляка и, угрожая ему, приказал бить мальчика. Полицейский избивал ребенка, на тротуар лилась кровь из разбитой головы и носа, а офицер отошел на несколько шагов в сторону и фотографировал эту сцену. Не знаю, что он собирался делать с этим снимком, наверное, хотел послать в какую-нибудь газету.

Я видела, как одну старуху-польку заставили за какую-то «провинность» раздеться донага. Германский жандарм застрелил на моих глазах одну женщину, которая не остановилась по его окрику. Потом оказалось, что она была глухонемая.

Трудно описать все издевательства, которым подвергают фашистские изверги население Варшавы. На углу Холодной и Железной улиц я видела старика с обнаженной головой на снегу, привязанного за руки и за скрюченные ноги к стволу дерева, у тротуара. Прохожие говорили, что он не успел во-время снять шапку, когда мимо проходил германский офицер.

Нищету польского и еврейского населения Варшавы описать невозможно. Достаточно сказать, что на улицах города появились недавно рикши — это обнищавшие, изголодавшиеся вконец польские и еврейские студенты.

Разве можно рассказать словами, какая ненависть живет в сердцах польского народа. Никогда в мире никто нигде никого не мог так ненавидеть, как ненавидят сейчас в Польше гитлеровских бандитов. Они это знают, они чувствуют эту ненависть на каждом шагу. И поэтому так беспощадна их расправа с поляками.

Но террор не помогает. Ненависть все равно прорывается наружу. На стенах в кино после сеанса появляются надписи, стихи, лозунги, в которых польский народ шлет проклятия своим угнетателям.

(«Правда» 26 июня 1941 г. «Гитлеровские разбойники в Варшаве». Ю. Барлицкая.)

„Против нас — темный зверь фашизма, который должен быть уничтожен".

Эрих Вайнерт

Все свободолюбивые норвежцы знают наизусть «Десять заповедей», в которых, между прочим, говорится:

«Ты должен ненавидеть Гитлера и никогда не забывать, что он без объявления войны дал приказ бандам убийц напасть на наш миролюбивый народ».

«Ты должен всегда помнить, что немецкие фашисты приказали своим летчикам уничтожить норвежские деревни и города, чтобы удовлетворить свою жажду крови».

«Ты должен помнить, что только поражение немцев может вернуть нам свободу».

Норвежский народ не хочет больше молчать и терпеть невыносимое иго гитлеровских палачей.

(«Правда» 30 июня 1941 г. «Фашистский разбой в Норвегии».)

В первых числах апреля нынешнего года на улицах городов и сел в почтовых ящиках квартир, в карманах пальто, в самых неожиданных местах норвежцы находили маленькие, размноженные на гектографе листовки.

«Норвежцы! — говорилось в листовках, — 9 апреля в течение получаса, с двух до двух с половиной дня, вы должны целиком отдаться мыслям о падении Норвегии. Проведите эти полчаса у себя дома. Пусть ни один человек не появится в это время на улице, в ресторане, в магазине или каком-нибудь другом общественном месте. Не разговаривайте в эти полчаса по телефону. Школьники, не отвечайте на вопросы преподавателей! Окружите ненавистью и презрением тех, кто посмеет нарушить в эти полчаса обет молчания и тем самым осквернит память наших павших бойцов».

Листовки переходили из рук в руки, размножались на пишущих машинках и гектографах, и квислинговские полицейские ищейки были бессильны предотвратить эту демонстрацию против фашистских поработителей и их ставленника Квислинга. Так народ (как сообщает скандинавский корреспондент журнала «Экономист») отметил 9 апреля годовщину вторжения гитлеровских орд в Норвегию.

...Когда на одном из многолюдных рабочих собраний Квислинг попытался выступить с проповедью своей пресловутой программы «нового порядка», все присутствовавшие демонстративно покинули зал.

Стоит лишь нацистскому бандиту войти в трамвай или автобус, как все пассажиры, словно по команде, выходят на ближайшей остановке.

«Лица, вступающие в партию Квислинга, — пишет газета «Ню даг», — как по мановению волшебной палочки теряют своих друзей, и их повсюду встречают с нескрываемой злобой и презрением.

Настолько велика ненависть населения к штурмовикам, что они не решаются даже появляться на улице в одиночку, а ходят компактными группами».

Листовки, плакаты, так называемые «письма с передачей», направленные против гнусных захватчиков, распространяются в огромном количестве. По утрам стены домов, заборы, тротуары и щиты для объявлений испещрены надписями: «Долой германских насильников». «Смерть предателю Квислингу». «Норвегия для норвежцев» и тому подобными лозунгами.

...Как правило, кинотеатры теперь посещаются только норвежскими штурмовиками и германскими солдатами. Когда же в кинотеатр приходят зрители-норвежцы, демонстрация германских фильмов неизменно сопровождается свистом и выкриками антифашистских лозунгов.

В изданной министерством полиции специальной инструкции жандармам даны указания, как действовать в случаях антигерманских демонстраций в кинотеатрах.

«Если демонстрацию, — говорится в инструкции, — проводят отдельные лица, то их надо тотчас же арестовывать. В тех случаях, когда в демонстрации участвует большинство публики, надо их всех изъять из театра и продолжать демонстрировать фильм только перед немцами».

(«Известия», 29 июня 1941 г. «Норвежский народ в борьбе с оккупантами». Э. Виклунд письмо из Гетеборга).

Народы чувствуют близость к тому народу, который идет впереди в борьбе за справедливое общество, кто борется за власть рабочих, за человеческую свободу".

Генрих Манн

В Норвегии, порабощенной, угнетенной Норвегии, поют сейчас песню, в которой содержатся следующие строфы:

Будь норвежцем! Пусть почувствуют
твою ненависть немцы —
Эти мерзавцы, ворвавшиеся сюда
однажды ночью
С танками и пушками...
Будь норвежцем! Дай немцам
почувствовать твою ненависть.
Они опустошают нашу страну
и крадут нашу пищу,
Они бомбят, убивают,
Они сжигают наши дома...
Будь норвежцем! Не забывай о том,
что пережила страна.
Сей всюду ненависть к немецким
бандитам.
Держи оружие наготове:
Пройдет немного времени,
И будет дан приказ к восстанию.

(«Правда» 24 июня 1941 г.)

Невыносимо тяжело живут народы оккупированных германскими фашистами стран. Но не лучше живется и самому германскому народу.

В день моего отъезда из Германии мне показали листовку, обращенную к рурским углекопам. В ней говорилось: «Они говорят «немецкий социализм», а подразумевают империалистических торговцев смертью. Лишь в одной стране в мире есть истинный социализм — это Советский Союз. Там рабочие и крестьяне взяли свою судьбу в собственные руки». А листовка, выпущенная в Мюнхене, обвиняет лидеров наци в том, что они используют так называемый «немецкий социализм» в качестве способа

своего обогащения, чтобы набивать карманы и жить за счет страны.

Коммунистическая партия возглавляет борьбу, идущую на германских фабриках и в окопах против империалистической войны, ее капиталистических подстрекателей и ее цепных псов — наци... Гестапо, учитывая это, усилило террор. Каждую неделю опубликовывается в печати много случаев присуждения к смертной казни «за преступления во время затемнения».

Большинство «преступников» — героические борцы против национал-социализма, которые используют затемнения для расклеивания листовок или писания лозунгов на стенах. Коммунистическая партия жестоко поплатилась за свою преданность делу социализма. Она потеряла более двух третей своих членов, которых убили, казнили, заключили в тюрьму и концентрационные лагери. В 1938 году по всей стране была создана сеть местных коммунистических организаций. Мобилизация и война разрушили эти организации, но в несколько месяцев они были восстановлены... С первого дня войны коммунисты в беседах, листовках, плакатах разъясняют империалистический характер войны и убеждают немецкий народ сопротивляться ей.

Чьи-то невидимые руки пишут на стенах фабрик, вкладывают листовки в карманы рабочих и иногда помещают их прямо на станках.

В листовках говорится: «Эта война — не наша война. Почему немецкий народ должен умирать или страдать ради выгод капиталистических поджигателей войны и ради лидеров наци».

...Эти листовки, эти плакаты, ледяное молчание рабочих или злобные выкрики наци на митингах, отношение немецкого народа к войне, все это — тяжелое напряжение для нервов правительства наци.

...Гитлер может усиливать террор против немецких рабочих. Но он никогда не победит. Это убеждение я вынес из своей «поездки в поисках фактов».

...Я говорил с рабочим одной из фабрик. Этот надежный и мужественный противник наци тяжело работает и живет в опасности, так как он организует своих товарищей для борьбы против гитлеровского режима. Он так же полон надежды, как другие противники наци, с которыми я имел разговор... Вынув листовку из кармана, он заставил меня прочесть следующее: «Рабочие всех стран должны объединиться вокруг Советского Союза, так как это единственная сила, могущая принести мир...»

«В ноябре прошлого года, — сказал этот рабочий, — нам удалось распространить 400 таких рукописных листовок в моем районе.

Недавно мы разбросали 700 листовок в том же районе. Это значит, что 700 человек охотно пошли на риск и, подвергаясь опасности умереть, читали то, что мы написали. И по нашим скромным подсчетам каждый экземпляр читали не менее 20 человек».

Семь лет беспощадного террора гестапо не смогли остановить распространение антинационалистских листовок в националистской Германии... Покидая Германию, я чувствовал, что независимо от того, что будет происходить, эти люди будут продолжать борьбу против режима наци. Они уверены в своей победе.

(Из корреспонденции Ганса Мюллера, помещенной в «Нью мэссес» от 16 и 23 апреля 1940 г.)

Корреспондент американского журнала «Тайм», недавно возвратившийся из Германии, заявляет, что германский народ проявляет сильное недовольство в связи с войной и ухудшением условий жизни.

«Почти каждое утро, — пишет корреспондент, — на зданиях в Берлине появляются лозунги: «Рот-Фронт победит», «Долой убийцу Гитлера» и т. д.

(«Правда» 29 июня 1941 г. «Антифашистские лозунги на улицах Берлина».)

«Пивные, винные погреба, кабаре в Берлине всегда переполнены людьми, старающимися заглушить вином свою тревогу, забыться. Никто не думает об экономии. Что пользы от денег, когда не знаешь, какую ценность завтра будет иметь германская марка и можно ли будет что-нибудь на нее приобрести. Я от многих слышал слова: «Еще никогда так не пьянствовали в Берлине, как теперь».

«Никто не говорит о скорой победе. В общественных местах немцы продолжают делать вид, что они не сомневаются в победе, но если вы останетесь с немцем наедине, он в большинстве случаев признается вам в том, что положение напряженное, что Гитлер не выполнил своих обещаний. «Если мы не победим к сентябрю, — говорят многие немцы, — то бог знает что будет, так как мы вряд ли перенесем еще одну зиму войны».

«Мне передавали, — продолжает далее автор корреспонденции, — что промышленная продукция в Германии упала на 25—30 процентов. Рано или поздно — реакция должна наступить, приходит усталость, дает себя чувствовать отсутствие витаминов в питании. Бессонные ночи способствуют общему упадку настроения. Большинство фабричных рабочих считает, что Германия уже проиграла войну».

(«Правда» 1 июля 1941 г. «Террор фашистов в Германии и оккупированных странах».)

„Безумные фашисты вызвали сейчас на борьбу противников, которые превосходят их по своей численности, убеждениям и своему единству. Теперь с фашистами будет покончено".

Лион Фейхтвангер

ИОГАННЕС БЕХЕР

БАЛЛАДА О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРОМУ ВСЕ ЛУЧШЕ ЖИЛОСЬ

I

К обеду в воскресенье
Имел жаркое он.
Купил на сбереженья
В рассрочку патефон.

Устроился в беседке.
Возделал огород.
И пел, как чиж на ветке:
— «Все к лучшему идет.

Все хорошо, а скоро
Настанет сущий рай».—
Он свастикой заборы
Украсил и сарай.

И что ни говорили
О бедствиях в стране,

Его не совратили,
Он счастлив был вполне.

Вдруг радио взревело:
«К оружию, народ.»
Он выглянул несмело:
Не враг ли у ворот?

Но кто-то по секрету
Спросил ночной порой:
— «Кто поднял бучу эту?
Не ты ли, дорогой?»

Зачем везде парады
С утра и до утра?
И не вмещают склады
Военного добра?

Военные дороги
Проложены в ночи,
И новых газов много...
Но тише... не кричи...

Он слов искал напрасно,
Пока не донеслось:
— Войну готовим — ясно:
«Чтоб лучше всем жилось».

II

Дни «лучшие» настали.
Под барабанный бой
Они маршировали,
Ревя на перебой:

«Нам не дает покоя
Советская земля.
Должны забрать мы с боя
Богатые поля».

Он полон был отваги,
Хотел блеснуть в борьбе.
Крича об общем благе,
Он думал о себе.

Стрелял остервенело,
Орал, что было сил:
— «Война, — вот это дело» —
И очень счастлив был.

Вдруг... грозный взрыв снаряда
И эскадрилий гул
Тут он, забыв порядок,
Порядочно струхнул.

И тотчас услыхал он
Команду: «Марш. Вперед».
Кругом все грохотало,
Земля и небосвод.

Все «лучше» становилось
Да он слегка устал.
Его глаза ввалились,
Он смерти ожидал.

И вспомнил он, что где-то
Слыхал ночной порой:
«Кто поднял бучу эту?
Не ты ли, дорогой?»

БЕРТ БРЕХТ

МОЙ БРАТ БЫЛ ХРАБРЫЙ ЛЕТЧИК

Мой брат был храбрый летчик.
Пришло письмецо ему вдруг.
Собрал он быстро свой мешок
И укатил на юг.

Мой брат — завоеватель.
В стране у нас теснота.
Чужой земли захватить кусок —
Старинная наша мечта.

И брат захватил геройски
Кусок чужой страны:
Длины в том куске метр семьдесят пять
И метр пятьдесят — глубины.

БЕРТ БРЕХТ

К НЕМЕЦКОМУ ГЕНЕРАЛУ

Генерал, хороши твои танки стальные:
Людей они топчут и рушат деревья.
Но есть и у танка один недостаток:
В пути ему нужен водитель.

Генерал, бомбовоз твой — могучая сила.
Так скор он в полете, так мощен в работе.
Но есть у него небольшой недостаток:
В бою ему нужен механик.

Генерал, человек — неплохая скотина.
Прикажешь — стреляет, прикажешь — летает.
Да только один у него недостаток:
Негодный, умеет и думать.

Пушки имеются и у фашистов, но у них не может быть наших красноармейцев.

И. Эренбург

„Великий светоч наших дней, надежда миллионов во всем мире — это вы, русские товарищи".

Вилли Бредель

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 4
И. Бехер. Преображение площади 5
И. Бехер. Проклятая банда 11
И. Бехер. Проклятье Гитлеру 12
И. Бехер. Первое мая 13
Э. Вайнерт. Ион Шер и товарищи 18
И. Бехер. Знамя 20
Э. Вайнерт. Молчанье 21
В. Лангхоф. Топливо 25
В. Лангхоф. Болотные солдаты 37
Берт Брехт. Ужасы режима 39
Л. Фейхтвангер. Изгнание врачей (из романа «Семья Оппенгейм») 42
Э. Вайнерт. Обыкновенная история 48
В. Бредель. Флаг (из романа «Твой неизвестный брат») . . 53
Э. Вайнерт. Застрелен полицией 60
И. Бехер. Песня о рубке голов 62
Берт Брехт. Ужасы Третьей Империи 64
Германский парад 64
Народное единство 65
Ящик 67
Профессиональное заболевание 68
Геббельсовское радио 70
Стихи 73
Р. Альберти. Интернациональной бригаде 75
Р. Альберти. Ганс Беймлер 76
А. Барбюс. За минуту до казни 78
Л. Тапиа. Мужество 82
Х. Петере. Комиссар 84
Народы Европы под игом фашизма 86
И. Бехер. Баллада о человеке, которому все лучше жилось . . 107
Берт Брехт. Мой брат был храбрый летчик 110
Берт Брехт. К немецкому генералу 111

Примечание. Часть материалов дается в сокращенном виде.

Цена 90 коп.